

ПАМЯТНИКИ ЛИТЕРАТУРЫ

В. Ф.
ОДОЕВСКИЙ

Сказки дедушки Иринея



ImWerdenVerlag
München 2006

СОДЕРЖАНИЕ

Серебряный рубль	3
Шарманщик	5
Разбитый кувшин.....	10
Городок в табакерке.....	12
Анекдоты о муравьях	16
Бедный Гнедко	18
Столяр.....	20
Мороз Иванович.....	22
О четырех глухих.....	27
Червячок.....	30
Житель Афонской горы.....	33
Сиротинка.....	33
Отрывки из журнала Маши	40
Два дерева	55
КОММЕНТАРИИ	59

Серебряный рубль

Дедушка Ириной очень любил маленьких детей, т. е. таких детей, которые умны, слушают, когда им что говорят, не зевают по сторонам и не глядят в окошко, когда маменька им показывает книжку. Дедушка Ириной любит особенно маленькую Лидиньку, и когда Лидинька умна, дедушка дарит ей куклу, конфетку, а иногда пяточок, гривенник, пятиалтынный, двугривенный, четвертак, полтинник. Вы, умные дети, верно знаете, какие это деньги?

Однажды дедушка Ириной собрался ехать в дорогу на целый месяц; вы знаете, я чаю, сколько дней в месяце и сколько дней в неделе? Когда дедушка Ириной собрался в дорогу, Лидинька очень плакала и считала по пальцам, сколько дней она не увидит дедушку.

Дедушка утешал Лидиньку и говорил ей, что если она будет умна, то он приедет скорее, нежели она думает.

— А на память, — сказал дедушка, — я оставлю тебе серебряный рубль и положу его вот здесь, на столе, перед зеркалом. Если ты весь месяц хорошо будешь учиться и учителя запишут в твоей тетрадке, что ты была прилежна, то возьми этот рубль — он твой; а до тех пор пусть он лежит на столе; не трогай его, а только смотри; а смотря на него, вспоминай о том, что я тебе говорил.

С этими словами дедушка положил на стол перед зеркалом прекрасный новенький рубль.

Дедушка уехал; Лидинька поплакала, погоревала, а потом, как умная девочка, стала думать о том, как бы дедушке угодить и хорошенько учиться.

Подошла она к столу полюбоваться на светленький серебряный рубль; подошла, смотрит и видит, что вместо одного рубля лежат два.

— Ах, какой же дедушка добрый! — сказала Лидинька. — Он говорил, что положит на стол только один рубль, а вместо того положил два.

Долго любовалась Лидинька, смотря на свои серебряные рублики; тогда же светило солнышко в окошко прямо на рублики, и они горели, как в огне.

Надобно правду сказать, что Лидинька очень хорошо училась, во время ученья забывала о своих рублях, а слушала только то, что ей говорил учитель. Но когда вечером она легла в постельку, то не могла не подумать о том, что она теперь очень богата, что у нее целых два серебряных рубля, а как Лидинька прилежно училась считать, то она тотчас сочла, что у нее в двух рублях 20 гривенников; никогда еще у нее не бывало такого богатства. Куда девать целых два рубля? Что купить на них? Тут Лидинька вспомнила, что видела она в лавке прехорошенькую куклу; только просили за нее очень дорого — целых полтора серебряных рубля, то есть рубль с полтиною. Да вспомнила она также, что ей понравился маленький наперсток, за который просили 40 копеек серебром; да вспомнила еще, что она обещала бедному хромоту, который стоит у церкви, целый гривенник, когда он у нее будет, за то, что Лидинька, выходя из церкви, уронила платок и не заметила этого, а бедный хроменький поднял платок и, несмотря на то что ему ходить на костылях очень было трудно, догнал Лидиньку и

отдал ей платок. Но тут Лидинька подумала, что уж целая неделя прошла с тех пор, как она обещала хроменькому гривенник, и что теперь очень бы хорошо было бы дать хроменькому два гривенника вместо одного за долгое жданье. Но если хроменькому дать два гривенника, то тогда неостанет денег на куклу и наперсток, а наперсток был Лидиньке очень нужен, потому что она была большая рукодельница и сама шила платье для своих кукол. Подумав немножко, Лидинька рассудила, что у нее и старая кукла еще очень хороша, а что только нужно ей купить кровать, за которую просили рубль серебряный. Лидинька и рассчитала, что если она заплатит за кровать рубль, за наперсток сорок копеек да нищему даст два гривенника, то еще денег у нее останется. А много ли у Лидиньки останется еще денег? Сочтите-ка, дети.

Между тем Лидинька думала, думала да и започивала, и во сне ей все снилась лавка с игрушками и казалось ей, что кукла ложилась в кровать и приседала, благодаря Лидиньку за такую хорошую кровать; и снилось ей, что наперсточек бежал по столу и сам вскакивал к ней на пальчик и что с ним и хроменький прыгал от радости, что Лидинька дала ему два гривенника.

Поутру Лидинька проснулась и стала просить горничную:

— Душенька, голубушка, сходи в гостиную, там дедушка на стол положил для меня два рубля серебряных. Они такие хорошенькие, новенькие, светленькие. Принеси мне на них полюбоваться.

Даша послушалась, пошла в гостиную и принесла оттуда рубль, который дедушка положил на столе.

Лидинька взяла рубль.

— Хорошо, — сказала она, — ну, а другой-то где ж? Принеси и другой; мне хочется послушать, как они звенят друг об друга.

Даша отвечала, что на столе лежит только один рубль, а что другой, верно, украли.

— Да кто же украд? — спросила Лидинька.

Даша засмеялась.

— Воры ночью приходили да и украли его, — отвечала она.

Лидинька расплакалась и побежала к маменьке рассказывать про свое горе, как дедушка положил для нее два рубля на стол и как Даша говорит, что ночью воры приходили и один рубль украли.

Маменька позвала Дашу. О чем она говорила с Дашей, Лидинька не могла хорошенько понять, но, однако ж, заметила, что маменька говорила очень строго и винила Дашу, как будто Даша сама взяла. От этих слов Даша расплакалась.

Лидинька не знала, что и придумать.

Между тем пришел учитель. Лидинька должна была отереть слезы и приняться за учење, но она была очень грустна. Между тем рубль положила опять на то же место, где положил его дедушка.

Когда кончилось учење, Лидинька печально подошла к столу полюбоваться на свой оставшийся рублик и подумать, как растянуть его, чтобы достало его на наперсток, хроменькому и на маленькую тяжелую подушку, на которую бы можно было прикалывать работу, которая также очень нужна была для Лидиньки.

Лидинька подошла к столу и вскрикнула от радости: перед ней опять были оба рублика.

— Маменька, маменька! — закричала она. — Даша не виновата, мои оба рублика целы.

Маменька подошла к столу.

— Какая же ты глупая девочка, — сказала она. — Разве ты не видишь, что один рублик настоящий, а другой ты видишь в зеркале, как ты видишь себя, меня и все, что

есть в комнате. Ты не подумала об этом, а я тебе поверила и винила Дашу, что она украла.

Лидинька снова в слезы, побежала скорее к Даше, бросилась к ней на шею и говорила ей:

— Даша, голубушка, я виновата, прости меня, я глупая девочка, наговорила маменьке вздор и подвела тебя под гнев. Прости меня, сделай милость.

С тех пор Лидинька больше не думала о рубле, а старалась прилежно учиться. Когда же встречалась с Дашей, то краснела от стыда.

Через месяц приехал дедушка и спросил:

— А что, Лидинька, заработала ли ты рубль?

Лидинька ничего не отвечала и потупила глазки, а маменька рассказала дедушке все, что случилось с рублем.

Дедушка сказал:

— Ты хорошо училась и заработала свой рубль, он твой, бери его; а вот тебе и другой, который ты видела в зеркале.

— Нет, — отвечала Лидинька, — я этого рубля не стою; я этим рублем обидела бедную Дашу.

— Все равно, — отвечал дедушка, — и этот рубль твой.

Лидинька немножко подумала.

— Хорошо, — сказала она, запинаясь, — если рубль мой, то позвольте мне...

— Что, — сказал дедушка.

— Отдать его Даше, — отвечала Лидинька.

Дедушка поцеловал Лидиньку, а она опрометью побежала к Даше, отдала ей рубль и попросила разменять другой, чтобы снести два гривенника бедному хромоту.

Шарманщик

Как вы счастливы, любезные дети! У вас есть маменьки, которые о вас заботятся: чего бы вы ни захотели, что бы вы ни задумали, — все готово для вас. Несколько глаз смотрят за каждым вашим шагом. Подойдете близко к столу, — несколько голосов на вас кричат: берегись!.. — не ушибись!.. Вы занемогли, — маменька в беспокойстве, весь дом в хлопотах: являются и родные, и доктор, и лекарства: маменька не спит ночью над вами, заслоняет вас от ветра, а когда вы заснете в своей мягкой постельке, тогда никто в доме не смеет пошевелиться. Едва вы проснетесь — маменька улыбается вам, и приносит вам игрушки, и рассказывает сказочки, и показывает книжки с картинками. Как вы счастливы, милые дети! Вам и в голову не приходит, что есть на свете другие дети, у которых нет ни маменьки, ни папеньки, ни мягкой постельки, ни игрушек, ни книжек с картинками. Я расскажу вам повесть об одном из таких детей.

Ваня, сын бедного органного музыканта (одного из тех, которых вы часто встречаете на улице с органами или которые входят во двор, останавливаются на морозе и забавляют вас своею музыкою), Ваня шел рано поутру с Васильевского острова в Петропавловскую школу. Не безделица была ему, бедному, поспевать каждый день к назначенному времени. Отец его жил далеко, очень далеко, в Чекушах. Ваня в этот день вышел особенно рано; ночью слегка морозило, льдинки хрустели под ногами бедного Вани, который в одной курточке перепрыгивал с камешка на камешек, чтобы лучше согреться. Несмотря на то, он был весел, прикусывал хлеб, который мать положила ему в сумку, повторял урок, который надобно ему было сказать в классе, и радовался, что знает его хорошо, — радовался, что в это воскресенье не оставят его в

школе за наказание, как то случилось на прошедшей неделе; больше у него ничего не было в мыслях. Уж он перешел через Синий мост, прошел Красный и быстро бежал по гранитному тротуару Мойки, как вдруг Ваня за что-то запнулся, смотрит, — перед ним лежит маленький ребенок, закутанный в лохмотья. Ребенок уже не кричал: губки его были сини; ручки, высунувшиеся из лохмотьев, окостенели. Ваня очень был удивлен такой находкой; он посмотрел вокруг себя, думая, что мать ребенка оставила его тут только на время, но на улице никого не было. Ваня бросился к ребенку, поднял его и, не зная, что делать, стал было целовать его, но испугался, — ему показалось, что он целует мертвого. Наконец ребенок вскрикнул, Ваня очень этому обрадовался, и первая мысль его была — отнести его к себе домой; но, прошедши несколько шагов, он почувствовал, что эта ноша была для него слишком тяжела, и сверх того он заметил, что его найденыш дрожал и едва дышал от холода. Ваня был в отчаянии. Он скинул с себя курточку, накинул ее на младенца, тер у него руки, но все было напрасно: ребенок кричал и дрожал всем телом. Посмотрев снова вокруг себя с беспокойством, он увидел стоявшего близ дома сторожа, который хладнокровно смотрел на эту сцену. Ваня тотчас подошел к нему с своею ношею.

— Дядюшка, — сказал он, — пригрей ребенка.

Но сторож, чухонец, не понимал слов его и только качал головою. Ваня сказал ему то же по-немецки. Маймист опять его не понял. Ваня не знал, что делать; он видел, что минуты были дороги, что одна скорая помощь могла спасти оледенелого ребенка. В это время из дома вышел какой-то господин и, увидев Ваню, спросил его:

— Чего ты хочешь, мальчик?

— Я прошу, — отвечал Ваня, — чтоб взяли и согрели этого ребенка, пока я сбегаю за батюшкой.

— Да где ты взял этого ребенка? — спросил незнакомец.

— Здесь на тротуаре, — отвечал Ваня.

Господин взял ребенка на руки и дал знак Ване, чтоб он за ним следовал. Они вошли в дом. Незнакомец спросил у Вани:

— Для чего ты хочешь идти за своим отцом?

— Для того, — отвечал Ваня, — что мне одному не донести до дому этого ребенка.

— Да кто ты?

— Я сын органного музыканта.

— Так твой отец должен быть очень беден?

— Да, — отвечал Ваня, — мы очень бедны. Батюшка ходит по городу с органом, матушка учит собачек плясать; тем мы и кормимся.

— Ну, так где же ему содержать еще ребенка! Оставь его здесь. — Ваня был в недоумении. Незнакомец, заметив это, сказал: — Говорю тебе, оставь его здесь: ему здесь будет хорошо.

Между тем, как они говорили, вошедшая в комнату женщина раздела ребенка, вытерла его сукном и начала кормить грудью. Ваня видел, как заботились о его найденыше; он понимал, что незнакомец говорил ему правду и что отцу его невозможно будет содержать нового питомца; но все ему жаль было с ним расстаться.

— Позвольте мне, — сказал он сквозь слезы, — хоть иногда навещать его?

— С радостью, — отвечал ему незнакомец, — и я тебе дам средство узнавать его между другими.

— Как между другими? — спросил Ваня.

— Да, — отвечал незнакомец, — таких детей здесь много; пойдем, я тебе их покажу.

Незнакомец отворил дверь, и Ваня с чрезвычайным удивлением увидел пред собою ряд больших комнат, где множество кормилиц носились с младенцами: иные кормили их грудью, другие завертывали в пеленки, третьи укладывали в постельку.

Это был **Воспитательный Дом** — благотворительное заведение, основанное императрицею Екатериною II. Я называю ее, любезные дети, чтоб это имя врезалось в сердце вашем. Впоследствии, участь истории, вы узнаете много славных дел в ее жизни, но ни одно из них не может сравниться с тем высоким христианским чувством, которое внушило ей быть матерью сирот беспомощных. До нее несчастные дети, брошенные бедными или жестокосердыми родителями, погибали без призрения. Она призрела их и назвала себя их матерью.

Когда Ваня с незнакомцем возвратились снова в прежнюю комнату, Ваня увидел, что его найденыш был уже и обмыт, и обвит чистыми пеленками.

— Что? Найдено ли что в лохмотьях? — сказал незнакомец кормилице.

— Ничего, — отвечала кормилица.

Тогда незнакомец велел принести крест с номером и написал на особенном листке: «№ 2332 младенца, принесенного 7 ноября 18.. года сыном органного музыканта, Карла Лихтенштейна, Иваном, в С.-Петербургский Воспитательный дом» и проч.

И долго еще после того Ваня навещал своего найденыша, которому дали имя Алексей. Алексей скоро привык узнавать Ваню и, когда Ваня входил, протягивал к нему свои ручонки.

* * *

Много лет протекло с тех пор. Надобно вам сказать, что отец Вани в молодости был музыкальным учителем; он давал уроки на фортепиано и на скрипке и тем добывал для себя и для семейства безнуждное содержание. Продолжительная болезнь лишила его учеников; когда он несколько выздоровел, место его во всех домах было уже занято другими учителями; новых учеников он не находил, а если и находил, то ненадолго, ибо возобновлявшиеся припадки принуждали его опаздывать, а часто и совсем не приходило к урокам. Мало-помалу Лихтенштейн впадал в нищету, мало-помалу все его небольшое имущество распродано было для того, чтобы достать денег на хлеб, и, наконец, он принужден был приняться за ремесло уличного музыканта. Года четыре спустя после рассказанного нами происшествия с Ваней отец его, думая больше выручить денег по разным городам, нежели в Петербурге, отправился в путь вместе с своею женою и Ванею. Они ездили по ярмаркам; отец с сыном показывали марионетки, мать вертела орган. Иногда же на долю Вани доставалось вертеть орган; тогда мать играла на арфе, а отец на скрипке. Переход от безнуждного состояния к крайней нищете вконец расстроил здоровье стариков.

Впоследствии, от трудов ли, от того ли, что часто принужден был отказывать себе во всем нужном, от недостатка ли в пище, в одежде, — отец Вани так занемог, что не был более в состоянии даже вертеть орган. Ваня с матерью на последние деньги купили лошадь с телегою и на ней перевозили из города в город больного Лихтенштейна, ибо когда они долго оставались в одном городе, то скоро сбор их прекращался, и они принуждены были выезжать в другое место; что они получали, то употребляли себе на пищу. Как часто Ваня, оставляя отца своего без куска хлеба, сам голодный, дрожа от стужи, промоченный до костей, сквозь слезы заставлял кукол своих хохотать или, показывая «китайские тени», рассказывал забавные истории и тешил ими своих маленьких зрителей; а часто случалось, что зрители были недовольны им, находили картинки стертыми, стекло не довольно светлым. Смерть была на душе у Вани, а он принужден был выдумывать остроумные ответы, смешные анекдоты, чтобы как-нибудь укротить гнев маленьких настойчивых судей своих, от которых зависела жизнь его отца, его матери, его самого.

Любезные дети! Вы не знаете, что такое смеяться сквозь слезы, и вы, может быть, не поймете, как у Вани было тяжело на сердце.

Бедное семейство, наконец, решилось возвратиться в Петербург, где, по старой привычке, они снова надеялись получить больше пособия. Отец Вани не доехал до Петербурга; он умер на дороге. Похоронив его, как могли, поплакав, погрузив, Ваня с матерью продолжали свой путь и, наконец, дотащились до Петербурга. По счастью, нашли они на старой своей квартире некоторых из прежних своих товарищей, которые с радостью приняли их в свою артель. Ваня от природы был слаб здоровьем; ему было уж лет двадцать восемь, но, смотря на него, можно было его принять за старика: так беспрестанная нужда и горесть изнурили его; часто и сам он не мог выходить, часто не мог и оставить мать свою. Товарищи на них роптали, упрекая Ваню в лени, и когда он с матерью садился за скудный обед, почти каждый кусок хлеба дорого им доставался.

Однажды после долговременной ее болезни, которая требовала беспрестанного присутствия Вани, сотоварищи его объявили ему, что ежели он в этот день не заработает сколько-нибудь денег, то они не дадут ни крохи хлеба ни ему, ни его матери, а на другой день сгонят их с квартиры. Крепя сердце, полубольной, Ваня с трудом взвалил на плечи тяжелый орган и вышел из дому на шумные петербургские улицы. Кто бы из проходящих подумал, слушая веселую песню, которую он наигрывал на органе, что в этом человеке жизнь боролась со смертью и что самые черные мысли проходили в его голове и сердце. В этот день Ваня был особенно несчастлив: тщетно проходил он мимо домов, показывая сидевшим у окна детям свои прыгающие куколки; тщетно входил во дворы и до изнеможения сил вертел рукоятку своего осиплого инструмента, — никуда его не позвали, ни гроша денег ему не было брошено! Уже поздно к вечеру Ваня, с отчаянием в сердце, возвращался домой; ужасная участь его ожидала: оставалось ему заложить свой орган, единственное средство к пропитанию, потом проесть вырученные за то деньги, потом умереть с голоду. Когда Иван проходил чрез перекресток многолюдной улицы сквозь толпы народа, проскакали сани и зашибли женщину, шедшую подле Вани. Женщина упала без памяти. Ваня, движимый чувством сострадания, бросился к ней на помощь. Столпился народ, явились полицейские служители; сани были уже далеко. Одни в толпе кричали, что сани задели женщину, другие толковали, что органщик, попятившись, зашиб ее своим органом; сама женщина была без языка. Ваня найден наклонившимся над нею; к тому же он, как ближайший свидетель, мог точнее рассказать, как было дело, и полицейские служители рассудили взять вместе с зашибленной женщиною и органщика. Ваня знал свою невинность и был уверен, что его продержат недолго, но это «недолго» могло быть дня два или три, а в продолжение этого времени что могло случиться с его матерью? В этот день и так уже у нее не было ни куска хлеба, а назавтра жестокосердые товарищи могли вытолкнуть на мороз больную, едва дышащую мать его. Тщетно он уверял в своей невинности, тщетно упрасивал — полицейский служитель готов уже был связать ему руки назад, когда его остановил человек, хорошо одетый, который давно уже наблюдал эту сцену и приблизился в ту минуту, когда для органщика не было уже спасения. Он остановил полицейского служителя, сказал ему свое имя и квартиру, прибавил, что он был свидетелем не только невинности, но даже великодушного поступка органщика, и, после долгих переговоров, убедил блюстителя благочиния отдать ему Лихтенштейна на поруки. Убежденный ли его словами, или потому, что он знал в лицо незнакомца, полицейский служитель согласился на его предложение. Когда бедный Ваня избавился от рук своего страшного неприятеля, тогда незнакомец сказал ему:

— Ну, теперь ступай своей дорогой, да скорее.

Ваня, поблагодарив незнакомца за его участие, сказал ему:

— Милостивый государь! Вы мне сделали благодеяние большее, нежели вы думаете, но оно будет для меня ничем, если вы мне еще не поможете.

— Что тебе надобно? — спросил незнакомец.

— Вы, я вижу, человек добрый, — продолжал Ваня. — Дайте мне денег.

— Не стыдно ли тебе, молодому человеку, просить милостыню? Ты можешь работать.

— Если б мог, то не просил бы у вас! Сегодня уже поздно работать, а мне деньги нужны сегодня! — отвечал Ваня отчаянным голосом.

Этот голос поразил незнакомца.

— Где ты живешь? — спросил он.

— В Чекушах, в доме мещанки Р***.

— Как спросить тебя?

— Спросите органщика Лихтенштейна.

— Лихтенштейна? — вскричал незнакомец, положил руку на голову и задумался. Пристально посмотрел он на Ваню и сказал: — Вот тебе пять рублей; постарайся завтра поутру быть дома, я приду к тебе.

— Ко мне? — вскричал в изумлении Ваня; так удивило его столь небывалое участие в судьбе его.

Они расстались.

На другой день Ваня печально сидел у постели своей больной матери. Вчерашняя его ходьба, случившееся с ним происшествие, все это так расстроило его, что он едва держался на полуразвалившейся скамье. Пять рублей были отданы в общую артель: они едва уплачивали то, что следовало за прожитое матерью и сыном. Не надеялся он на посещение незнакомца; не раз уже с ним бывали подобные случаи; часто люди, тронутые его выразительной физиономией, также спрашивали о его житье-бытье, его квартире — и забывали; ибо много людей на свете, которые и способны пожалеть о судьбе несчастного, но много ли таких, которые будут помнить о ней и возьмут на себя труд докончить доброе дело?

Но на этот раз Ваня обманулся. Еще не благовестили к обедне, когда вчерашний незнакомец вошел в темную каморку Вани. Ваня как будто оторопел: ему было стыдно своей бедности; он хотел и не смел предложить гостю единственный изломанный стул, стоявший в комнате, но гость скоро прекратил его недоумение.

— Скажи мне, — сказал он трепещущим голосом, — сколько тебе лет?

— Тридцать, — отвечал Ваня.

— О, так это не то, — сказал с горестию незнакомец, — скажи мне, не было ли у тебя отца или какого родственника, который когда-нибудь жил на этой квартире?

— Отец мой жил здесь, — отвечал Ваня, — но он уже умер.

— Не его ли звали Иван Лихтенштейном? — спросил незнакомец.

— Нет, — отвечал Иван, — но так меня зовут.

— Знаешь ли ты, — продолжал незнакомец с ежeminутно возрастающим волнением, — № 2332 Воспитательного Дома?

Дрожа сам не зная отчего, Ваня в истертом книжнике отыскал записку, более двадцати лет тому назад полученную им из Воспитательного Дома, и показал незнакомцу.

Едва молодой человек взглянул на нее, как бросился в объятия Вани:

— Спаситель мой!.. Отец.

— Как!.. неужели? — говорил Ваня прерывающимся голосом. — Вы... ты!.. Алеша! И оба они плакали, и оба долго не могли выговорить ни слова.

* * *

Для объяснения сей истории нужно прибавить, что Алеша, найденный Ванею и воспитанный в Воспитательном Доме, показал необыкновенные дарования к

живописи. Из Воспитательного Дома он поступил в Академию и скоро сделался известным живописцем. Нажив достаточное состояние своим искусством, он вспомнил о том, кому одолжен был жизнью. По журналу Воспитательного Дома, в котором записываются все обстоятельства, случившиеся при поступлении в оный младенцев, ему легко было узнать и имя Лихтенштейна, и его квартиру; но когда он наведывался о нем, тогда Лихтенштейнов не было уж в Петербурге, и никто не мог дать ему ни малейшего о них известия, пока случай не свел его с своим избавителем.

Ваня вместе с матерью переселился к своему Алеше. Спокойная жизнь и довольство возвратили здоровье несчастным, и они до сих пор живут вместе. Иван, вспомнив некоторые уроки музыки, переданные ему отцом, посвятил себя сему искусству и достиг до того, что теперь сам может давать в ней уроки и тем увеличивать общие доходы.

Разбитый кувшин

*Ямайская сказка **

Жили-были на сем свете две сестрицы, обе вдовы, и у каждой было по дочери. Одна из сестер умерла и дочь свою оставила сестре на попечение; но эта сестра была нехорошая женщина: с дочерью своей она была добра, а с племянницею зла. Бедная Маша! — так называли племянницу — горькое было ее житье: доставалось ей и от тетушки, и от сестрицы; словно раба она была у них в доме. Вот однажды, на беду, Маша разбила кувшин. Как узнает об этом тетка — вон из дому, да и только, пока не сыщется другого кувшина! А где сыскать? Вот Маша идет да плачет; вот дошла она до хлопчатого дерева **, а под деревом сидит старуха, да еще какая! — без головы! Без головы — не шутка сказать! Я думаю, Маша порядочно удивилась, а особенно когда старуха ей сказала:

— Ну, что ж ты видишь, девочка?

— Да я, матушка, — отвечала Маша, — ничего не вижу.

— Вот добрая девушка, — сказала старуха, — ступай своей дорогой.

И вот опять Маша идет путем-дорогою; вот дошла она до кокосового дерева ***, а под деревом сидит также старуха и также без головы; то же спросила она у Маши, то же отвечала ей Маша, и того же старуха ей пожелала.

И опять идет Маша да плачет; долго идет она, и уж голод ее мучит. Вот дошла она до красного дерева ****, и под деревом сидит третья старуха, но уж с головой на плечах: Маша остановилась, поклонилась и сказала:

— По добру ли, по здорову, матушка, поживаешь?

— Здорово, дитяtko, — отвечала старуха, — да что с тобой? Тебе будто не по себе.

— Матушка, есть хочется.

* Сказку эту рассказывали негры острова Ямайки в то время, когда они состояли в рабстве; теперь рабство негров уничтожено. Ямайка, один из Антильских островов, открытых Колумбом в 1494 году, принадлежит англичанам. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

** Хлопчатник — дерево или кустарник, доставляющий хлопок. Плод хлопчатника имеет вид небольшого шарика, обтянутого шелухою; в нем лежат семена, обвитые белым мягким пухом, который называется хлопком. При созревании плода шелуха, покрывающая его, лопается, и хлопок обнаруживается. Его собирают, сушат на солнце, очищают от шелухи и семян и укладывают в тюки. Из него выделывают вату или хлопчатую бумагу и разные материи, известные под названием бумажных: ситец, коленкор, кисею, плис и пр. Хлопок — самый выгодный из всех продуктов, употребляемых для тканей, поэтому и выделяемые из него материи отличаются дешевизною, доступною для всех классов народа. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

*** Дерево, на котором растут кокосовые орехи. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

**** Дерево, досками которого обклеивают мебель. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

— Войди, дитятко, в избушку; там есть пшено в горшке; поешь его, дитятко, да смотри, черного кота не забудь.

Маша послушалась, вошла в избушку, взялась за горшок с пшеном, смотрит, а черный кот шаст к ней навстречу. Маша с ним честно поделилась пшеном; кот покусал и пошел своей дорогой. Не успела Маша оглянуться, как перед ней очутилась хозяйка дома в красной юбке.

— Хорошо, дитятко, — сказала она, — я тобою довольна; поди же ты в курятник и возьми там три яичка; но тех, которые говорят человеческим голосом, тех отнюдь не бери.

Пошла Маша в курятник. Не успела она войти в него, как поднялся шум и крик. Из всех лукошек яйца закричали: «Возьми меня, возьми меня!» Но Маша не забыла приказания старухи, и хоть яйца-болтуны были и больше и лучше других, она их не взяла; искала, искала и, наконец, нашла три яичка, маленькие, черненькие, но которые зато ни слова не говорили.

Вот старуха с Машей распрощалась.

— Ступай же, дитятко, — сказала она, — ничего не бойся, только не забудь под каждым деревом разбить по яичку.

Маша послушалась. Пришла к первому дереву, разбила яичко, и из яичка выскочил кувшин, ни дать ни взять такой, какой она поутру разбила. Она разбила второе яичко, и из яичка выскочил прекрасный дом со светлыми окошками и большое, большое поле, все усеянное сахарным тростником. Разбила третье яичко, и из яичка выскочила блестящая коляска. Маша села в коляску, приехала к тетке, рассказала ей, каким образом старуха в красной юбке сделала ее большою госпожою, рассказала и возвратилась в свой прекрасный дом со светлыми окошками и к своим сахарным тростникам.

Когда тетка узнала все это, зависть ее взяла, и она, не мешкая ни минуты, отправила свою дочку по той же дороге, по которой Маша ходила. Дочка также дошла до хлопчатого дерева и также увидела под ним старуху без головы, которая то же спросила у нее, что и у Маши: что она видит?

— Вот еще! Что я вижу! — отвечала тетушкина дочка, — я вижу безголовую старуху.

Надобно заметить, что в этом ответе была двойная обида: во-первых, было невежливо напоминать женщине о ее телесном недостатке, а во-вторых, неблагоприятно: ибо могли бы это услышать белые люди и принять женщину без головы за колдунью.

— Злая ты девочка, — сказала старуха, — злая ты девочка, и дорога тебе клином сойдется.

Не лучше случилось и под кокосовым деревом, и под красным. Увидевши старуху в красной юбке, тетушкина дочка мимоходом сказала ей:

— Здравствуй! — и даже не прибавила: бабушка*.

Несмотря на то, старуха ее также пригласила покушать пшена в избушке и также заметила ей не забыть черного кота. Но тетушкина дочка забыла накормить его, а когда старуха вошла, то не посовестились уверять ее, что она накормила кота досыта. Старуха в красной юбке показала вид, будто далась в обман, и также послала маленькую лгунью в курятник за яйцами. Хоть старуха и два раза ей повторяла не брать яиц, которые говорят человеческим голосом, но упрямица не послушалась и выбрала из лукошек именно те яйца, которые болтали больше других; она думала, что они-то и самые драгоценные. Она взяла их и, чтоб скрыть их от старухи, не пошла больше в

* Между неграми считается за большое бесчестие, говоря с кем-нибудь, не называть его родственным именем, как, например: бабушка, тетушка, братец и проч. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

хижину, а воротилась прямо домой. Не успела она дойти до красного дерева, как любопытство ее взяло: не утерпела она и разбила яичко.

Что же? Смотрит, ан яичко пусто. Хорошо, если б этим и кончилось! Едва она разбила другое яичко, как из него выскочила большая змея, встала на хвост и зашипела так страшно, что бедная девочка пустилась бежать опрометью, запнулась на дороге о бамбуковое дерево *, упала и разбила третье яичко; а из него показалась старуха без головы и сердито проговорила:

— Если б ты была со мною вежлива, не обманула бы меня, то я бы тебе дала то же, что и твоей сестрице; но ты девочка непочтительная, да и притом обманщица, а потому будет с тебя и яичных скорлупок.

С сими словами старуха села на змея, быстро помчалась, и с тех пор на том острове больше не видали ни старухи, ни ее красной юбки.

Городок в табакерке

Папенька поставил на стол табакерку.

— Поди-ка сюда, Миша, посмотри-ка, — сказал он.

Миша был послушный мальчик, тотчас оставил игрушки и подошел к папеньке. Да уж и было чего посмотреть! Какая прекрасная табакерка! Пестренькая, из черепахи. А что на крышке-то! Ворота, башенки, домик, другой, третий, четвертый, и счесть нельзя, и все мал мала меньше, и все золотые; а деревья-то также золотые, а листики на них серебряные; а за деревьями встает солнышко, и от него розовые лучи расходятся по всему небу.

— Что это за городок? — спросил Миша.

— Это городок Динь-динь, — отвечал папенька и тронул пружинку... И что же? вдруг, невидимо где, заиграла музыка. Откуда слышна эта музыка, Миша не мог понять; он ходил и к дверям, — не из другой ли комнаты? И к часам — не в часах ли? и к бюро, и к горке; прислушивался то в том, то в другом месте; смотрел и под стол... Наконец, Миша уверился, что музыка точно играла в табакерке. Он подошел к ней, смотрит, а из-за деревьев солнышко выходит, крадется тихонько по небу, а небо и городок все светлее и светлее; окошки горят ярким огнем и от башенок будто сияние. Вот солнышко перешло через небо на другую сторону, все ниже да ниже, и, наконец, за пригорком совсем скрылось, и городок потемнел, ставни закрылись, и башенки померкли, только не надолго. Вот затеплилась звездочка, вот другая, вот и месяц рогатый выглянул из-за деревьев, и в городе стало опять светлее, окошки засеребрились, и от башенок потянулись синеватые лучи.

— Папенька! папенька, нельзя ли войти в этот городок? Как бы мне хотелось!

— Мудрено, мой друг. Этот городок тебе не по росту.

— Ничего, папенька, я такой маленький. Только пустите меня туда, мне так бы хотелось узнать, что там делается...

— Право, мой друг, там и без тебя тесно.

— Да кто же там живет?

— Кто там живет? Там живут колокольчики.

С сими словами папенька поднял крышку на табакерке, и что же увидел Миша? И колокольчики, и молоточки, и валик, и колеса. Миша удивился.

* Бамбук — род толстого тростника, который растет в виде дерева иногда так высоко, как тополь, и ветви которого поднимаются прямо вверх. В коленцах бамбука находят белую и чистую смолу, которую индейцы называют «бамбуковый сахар» и которая считается весьма целительною. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

— Зачем эти колокольчики? Зачем молоточки? Зачем валик с крючками? — спрашивал Миша у папеньки.

А папенька отвечал:

— Не скажу тебе, Миша. Сам посмотри по-пристальнее да подумай: авось-либо отгадаешь. Только вот этой пружинки не трогай, а иначе все изломается.

Папенька вышел, а Миша остался над табакеркой. Вот он сидел над нею, смотрел, смотрел, думал, думал: отчего звенят колокольчики.

Между тем музыка играет да играет; вот все тише да тише, как будто что-то цепляется за каждую нотку, как будто что-то отталкивает один звук от другого. Вот Миша смотрит: внизу табакерки отворяется дверца и из дверцы выбегает мальчик с золотой головкой и в стальной юбочке, останавливается на пороге и манит к себе Мишу.

Да отчего же, подумал Миша, папенька сказал, что в этом городке и без меня тесно? Нет, видно, в нем живут добрые люди; видите, зовут меня в гости.

— Извольте, с величайшей радостью.

С этими словами Миша побежал к дверце и с удивлением заметил, что дверца ему пришлась точь-в-точь по росту. Как хорошо воспитанный мальчик, он почел долгом прежде всего обратиться к своему провожатому.

— Позвольте узнать, — сказал Миша, — с кем я имею честь говорить?

— Динь, динь, динь, — отвечал незнакомец. — Я — мальчик-колокольчик, житель этого городка. Мы слышали, что вам очень хочется побывать у нас в гостях, и потому решили просить вас сделать нам честь к нам пожаловать. Динь, динь, динь, динь, динь, динь.

Миша учтиво поклонился; мальчик-колокольчик взял его за руку, и они пошли. Тут Миша заметил, что над ними был свод, сделанный из пестрой тисненой бумажки с золотыми краями. Перед ними был другой свод, только поменьше; потом третий, еще меньше; четвертый, еще меньше, и так все другие своды, чем дальше, тем меньше, так что в последний, казалось, едва могла пройти головка его провожатого.

— Я вам очень благодарен за ваше приглашение, — сказал ему Миша, — но не знаю, можно ли будет мне им воспользоваться. Правда, здесь я свободно прохожу, но там дальше, посмотрите, какие у вас низенькие своды; там я, позвольте сказать откровенно, там я и ползком не пройду. Я удивляюсь, как и вы под ними проходите...

— Динь, динь, динь, — отвечал мальчик, — пройдем, не беспокойтесь, ступайте только за мною.

Миша послушался. В самом деле, с каждым шагом, казалось, своды поднимались, и наши мальчики всюду свободно проходили; когда же они дошли до последнего свода, тогда мальчик-колокольчик попросил Мишу оглянуться назад. Миша оглянулся и что же он увидел? Теперь тот первый свод, под который он подошел, входя в дверцы, показался ему маленьким, как будто, пока они шли, свод опустился. Миша был очень удивлен.

— Отчего это? — спросил он своего проводника.

— Динь, динь, динь, — отвечал проводник смеясь, — издали всегда так кажется; видно, вы ни на что вдаль со вниманием не смотрели: вдали все кажется маленьким, а подойдешь — большое.

— Да, это правда, — отвечал Миша, — я до сих пор не подумал об этом и оттого вот что со мною случилось: третьего дня я хотел нарисовать, как маменька возле меня играет на фортепьяно, а папенька, на другом конце комнаты, читает книжку. Только этого мне никак не удалось сделать! Тружусь, тружусь, рисую как можно вернее, а все на бумаге у меня выйдет, что папенька возле маменьки сидит и кресло его возле фортепьяно стоит; а между тем я очень хорошо вижу, что фортепьяно стоит возле меня у окошка, а папенька сидит на другом конце у камина. Маменька мне говорила, что папеньку надобно нарисовать маленьким, но я думал, что маменька шутит, потому что

папенька гораздо больше ее ростом; но теперь вижу, что маменька правду говорила: папеньку надобно было нарисовать маленьким, потому что он сидел вдалеке: очень вам благодарен за объяснение, очень благодарен.

Мальчик-колокольчик смеялся изо всех сил.

— Динь, динь, динь, как смешно! Динь, динь, динь, как смешно! Не уметь нарисовать папеньку с маменькой! Динь, динь, динь, динь, динь!

Мише показалось досадно, что мальчик-колокольчик над ним так немилосердно насмехается, и он очень вежливо сказал ему:

— Позвольте мне спросить у вас: зачем вы к каждому слову все говорите: динь, динь, динь!

— Уж у нас поговорка такая, — отвечал мальчик-колокольчик.

— Поговорка? — заметил Миша. — А вот папенька говорит, что нехорошо привывать к поговоркам.

Мальчик-колокольчик закусил губы и не сказал более ни слова.

Вот перед ними еще дверцы; они отворились, и Миша очутился на улице. Что за улица! Что за городок! Мостовая, вымощена перламутром; небо пестренькое, черепаховое; по небу ходит золотое солнышко; поманишь его — оно с неба сойдет, вкруг руки обойдет и опять поднимется. А домики-то стальные, полированные, крытые разноцветными раковинками, и под каждую крышкою сидит мальчик-колокольчик с золотой головкою, в серебряной юбочке, и много их, много и все мал мала меньше.

— Нет, теперь уж меня не обмануть, — сказал Миша, — это так только мне кажется издали, а колокольчики-то все одинакие.

— Ан вот и неправда, — отвечал провожатый, — колокольчики не одинакие. Если бы мы все были одинакие, то и звенели бы мы все в один голос, один, как другой; а ты слышишь, какие мы песни выводим? Это оттого, что кто из нас побольше, у того и голос потолще; неужели ты и этого не знаешь? Вот видишь ли, Миша, это тебе урок: вперед не смейся над теми, у которых поговорка дурная; иной и с поговоркою, а больше другого знает и можно от него кое-чему научиться.

Миша в свою очередь закусил язычок.

Между тем их окружили мальчики-колокольчики, теребили Мишу за платье, звенели, прыгали, бегали.

— Весело вы живете, — сказал Миша, — век бы с вами остался; целый день вы ничего не делаете; у вас ни уроков, ни учителей, да еще и музыка целый день.

— Динь, динь, динь! — закричали колокольчики. — Уж нашел у нас веселье! Нет, Миша, плохое нам житье. Правда, уроков у нас нет, да что же в том толку. Мы бы уроков не побоялись. Вся наша беда именно в том, что у нас, бедных, никакого нет дела; нет у нас ни книжек, ни картинок; нет ни папеньки, ни маменьки; нечем заняться; целый день играй да играй, а ведь это, Миша, очень, очень скучно! Хорошо наше черепаховое небо, хорошо и золотое солнышко, и золотые деревья, но мы, бедные, мы насмотрелись на них вдоволь, и все это очень нам надоело; из городка мы ни пяди, а ты можешь себе вообразить, каково целый век, ничего не делая, просидеть в табакерке с музыкой.

— Да, — отвечал Миша, — вы говорите правду. Это и со мною случается: когда после ученья примешься за игрушки, то так весело; а когда в праздник целый день все играешь да играешь, то к вечеру и сделается скучно; и за ту и за другую игрушку примешься — все не мило. Я долго не понимал, отчего это, а теперь понимаю.

— Да сверх того на нас есть другая беда, Миша: у нас есть дядьки.

— Какие же дядьки? — спросил Миша.

— Дядьки-молоточки, — отвечали колокольчики, — уж какие злые! То и дело, что ходят по городу да нас постукивают. Которые побольше, тем еще реже тук-тук бывает, а уж маленьким куда больно достается.

В самом деле, Миша увидел, что по улице ходили какие-то господа на тоненьких ножках, с предлинными носами и шипели между собою: тук, тук, тук! тук, тук, тук! Поднимай, задевай. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!

И в самом деле, дядьки-молоточки беспрестанно то по тому, то по другому колокольчику тук да тук, индо бедному Мише жалко стало. Он подошел к этим господам, очень вежливо поклонился и с добродушием спросил: зачем они без всякого сожаления колотят бедных мальчиков?

А молоточки ему в ответ:

— Прочь ступай, не мешай! Там в палате и в халате надзиратель лежит и стучать нам велит.

Все ворочается, прицепляется. Тук, тук, тук! Тук, тук, тук!

— Какой это у вас надзиратель? — спросил Миша у колокольчиков.

— А это господин Валик, — зазвенели они, — предобрый человек — день и ночь с дивана не сходит. На него мы не можем пожаловаться.

Миша к надзирателю. Смотрит, — он в самом деле лежит на диване, в халате и с боку на бок переворачивается, только все лицом кверху. А по халату-то у него шпильки, крючочки, видимо-невидимо, только что попадетсЯ ему молоток, он его крючком сперва зацепит, потом опустит, а молоточек-то и стукнет по колокольчику.

Только что Миша к нему подошел, как надзиратель закричал:

— Шуры-муры! Кто здесь ходит? Кто здесь бродит? Шуры-муры, кто прочь не идет? Кто мне спать не дает? Шуры-муры! Шуры-муры!

— Это я, — храбро отвечал Миша, — я — Миша...

— А что тебе надобно? — спросил надзиратель.

— Да мне жаль бедных мальчиков-колокольчиков, они все такие умные, такие добрые, такие музыканты, а по вашему приказанию дядьки их беспрестанно постукивают...

— А мне какое дело, шуры-муры! Не я здесь на́больший. Пусть себе дядьки стучают мальчиков! Мне что за дело! Я надзиратель добрый, все на диване лежу и ни за кем не гляжу... Шуры-муры, шуры-муры...

— Ну, многому же я научился в этом городке! — сказал про себя Миша. — Вот еще иногда мне бывает досадно, зачем надзиратель с меня глаз не спускает! «Экой злой, — думаю я. — Ведь он не папенька и не маменька. Что ему за дело, что я шалю? Знал бы, сидел в своей комнате». Нет, теперь вижу, что бывает с бедными мальчиками, когда за ними никто не смотрит.

Между тем Миша пошел далее — и остановился. Смотрит — золотой шатер с жемчужной бахромой, наверху золотой флюгер вертится, будто ветряная мельница, а под шатром лежит царевна-пружинка и, как змейка, то свернется, то развернется и беспрестанно надзирателя под бок толкает. Миша этому очень удивился и сказал ей:

— Сударыня-царевна! Зачем вы надзирателя под бок толкаете?

— Зиц, зиц, зиц, — отвечала царевна, — глупый ты мальчик, неразумный мальчик! На все смотришь — ничего не видишь! Кабы я валик не толкала, валик бы не вертелся; кабы валик не вертелся, то он за молоточки бы не цеплялся, кабы за молоточки не цеплялся, молоточки бы не стучали, колокольчики бы не звенели; кабы колокольчики не звенели, и музыки бы не было! Зиц, зиц, зиц!

Мише хотелось узнать, правду ли говорит царевна. Он наклонился и прижал ее пальчиком — и что же? В одно мгновение пружинка с силою развилась, валик сильно завертелся, молоточки быстро застучали, колокольчики заиграли дребедень, и вдруг пружинка лопнула. Все умолкло, валик остановился, молоточки попадали, колокольчики свернулись на сторону, солнышко повисло, домики изломались. Тогда Миша вспомнил, что папенька не приказывал ему трогать пружинки, испугался и... проснулся.

— Что во сне видел, Миша? — спросил папенька.

Миша долго не мог опамятоваться. Смотрит: та же папенькина комната, та же перед ним табакерка; возле него сидят папенька и маменька и смеются.

— Где же мальчик-колокольчик? Где дядька-молоточек? Где царевна-пружинка? — спрашивал Миша. — Так это был сон?

— Да, Миша, тебя музыка убаюкала, и ты здесь порядочно вздремнул. Расскажи-ка нам по крайней мере, что тебе приснилось?

— Да, видите, папенька, — сказал Миша, протирая глазки, — мне все хотелось узнать, отчего музыка в табакерке играет; вот я принялся на нее прилежно смотреть и разбирать, что в ней движется и отчего движется; думал-думал и стал уже добираться, как вдруг, смотрю, дверца в табакерке растворилась... — Тут Миша рассказал весь свой сон по порядку.

— Ну, теперь вижу, — сказал папенька, — что ты в самом деле почти понял, отчего музыка в табакерке играет; но ты еще лучше поймешь, когда будешь учиться механике.

Анекдоты о муравьях

Возле моей комнаты была другая, в которой никто не жил. В сей последней стоял на окне ящик с землей, приготовленной для цветов. Земля была покрыта обломками обвалившейся с верху стены штукатурки. Окошко было на полдень и хорошо защищено от ветра; в некотором расстоянии находился амбар; словом, это место представляло все возможные удобства для муравьев.

Действительно, когда мне вздумалось посадить в этот ящик тюльпанную луковицу, я нашел в ящике три муравьиные гнезда. Здесь муравьям такое было привольное житье, так весело они бегали по стенам ящика; мне показалось, что было бы слишком жестоко для цветка нарушать спокойствие этих смысленных насекомых; я приискал другое место для моей луковицы, а ящик с муравьями избрал предметом моих наблюдений. Эти наблюдения доставили мне столько наслаждений, сколько бы никогда не могли мне доставить все цветы на свете.

Прежде всего я постарался моим гостям доставить все возможные удобства, и для сего я снял с ящика все то, что могло мешать или вредить им. По несколько раз в день приходил я смотреть на их работу, а часто и ночью, при лунном свете: мои гости работали беспрестанно. Когда все другие животные спали, они не переставали бегать снизу вверх и сверху вниз, — можно было подумать, что отдых для них не существует.

Как известно, главное занятие муравьев — это запасти себе в продолжение лета пищу на зиму. Я думаю, всем моим читателям известно, что муравьи прячут в земле собранные ими зерна ночью, а днем выносят их сушить на солнце. Если когда-нибудь вы обращали внимание на муравейник, то, верно, замечали вокруг него небольшие кучки зерен. Я знал их обычай и потому чрезвычайно был удивлен, заметив, что мои постояльцы делали совершенно противное: они держали свои зерна под землею в продолжение целого дня, несмотря на солнечное сияние, и, напротив, выносили их наружу ночью; можно было подумать, что они выносили свои зерна на лунный свет, но я ошибся, — мои муравьи имели преважную причину поступать так, а не иначе.

В небольшом расстоянии от окна находилась голубятня; голуби беспрестанно садились на окошко и съедали зерна, попадавшие им на глаза; следовательно, мои муравьи поступали очень благоразумно, скрывая свое сокровище и не доверяя его похитителям. Как скоро я догадался, в чем дело, то решился избавить моих постояльцев от их беспокойных соседей; я навязал несколько лоскутков бумаги на неболь-

шие палочки и рассадил их вокруг ящика; движение этих бумажек пугало голубей; когда же какой-либо смельчак из них подлетал к ящику, несмотря на взятые мной предосторожности, тогда я криком и шумом заставлял похитителя оставлять свою добычу; вскоре голуби отучились прилетать на окошко. Несколько времени спустя, к величайшему моему удивлению, муравьи вынесли наружу в продолжение дня два или три зерна хлеба; заметив, что эти зерна остались невредимыми и что им нечего бояться, мои постояльцы вынесли на солнце и весь свой запас, подобно другим муравьям. Во всяком муравьином гнезде находится узкое отверстие в вершок глубиной и посредством подземного канала соединяется с житницами муравейника; семена в сих житницах могли бы легко прорасти, что было бы очень невыгодно для муравьев; дабы предупредить эту неприятность, они всегда откусывают несколько зерн, делая его через то неспособным к произрастанию.

Но другие беды грозят их житницам: от сырости, находящейся в земле, зерна могут загнить и сделаться негодными к употреблению; чтобы предотвратить и это несчастье, они с большим рачением стараются собирать совершенно сухую землю. Зерно, находясь в такой земле, не гниет и не прорастает, и потому муравьи стараются иметь столь же сухую землю, как и сухие зерна. Вот как они поступают в сем случае: сперва они устилают пол сухой землей, потом кладут на нее ряд зерен, которые покрывают тонким слоем земли и всякий день два раза вытаскивают свои зерна для просушки. Если вы обратите на это внимание, то увидите, что муравей прежде всего старается дотащить в нору небольшой комок земли, и это продолжается до тех пор, пока из сих комков не образуется небольшой слой, тогда они начинают сносить в нору самые зерна, кои снова покрывают землей.

Эту сушку производят они в хорошую, но не в дождливую погоду, и, что всего страннее, они как будто предчувствуют ее перемену, ибо никогда не выставляют на воздух зерен своих перед дождем.

Я заметил, что мои муравьи ходили за запасом большей частью в близстоящий амбар, в котором находились разного рода хлеба; муравьи таскали обыкновенно пшеницу. Желая испытать, до какой степени простирается смышленность и терпение моих постояльцев, я велел не только затворить амбар, но даже заклеить бумагой все могущие быть в нем отверстия. В то же время я положил кучку зерен в моей комнате; я знал уже давно смышленность моих муравьев, но и не подозревал, чтобы между ними могло быть соглашение, и не ожидал также, чтобы они вдруг бросились на мою кучку зерен: мне любопытно было знать, чем все это кончится. В продолжение нескольких дней они, по-видимому, находились в крайнем смущении; они бегали взад и вперед по всем направлениям, некоторые из них возвращались очень поздно, из чего заключаю, что они очень далеко ходили за провизиею. Иные не находили того, чего искали, но я заметил, что они совестились возвращаться с пустыми руками. Кому не удалось найти пшеничное зерно, тот тащил ржаное, ячменное, овсяное, а кому ни одного зерна не попадалось, тот притаскивал комок земли. Окошко, на котором они жили, выходило в сад и было во втором этаже дома; несмотря на то, муравьи, отыскивая зерна, часто доходили до противоположной стороны сада; это была тяжелая работа: пшеничное зерно совсем не легко для муравья; только что только может он тащить его, и доставить такое зерно в муравейник часто стоит четырехчасовой работы.

А чего стоило бедному муравью взбираться с зерном по стене во второй этаж, головою вниз, задними ногами вверх? Нельзя себе вообразить, что делают эти маленькие насекомые в сем положении! Часто в удобном месте они останавливаются для отдыха, и число этих отдыхов может дать меру, до какой степени они приходят в усталость. Случается, что иные едва могут достигнуть своей цели; в таком случае сильнейшие из их собратий, окончив собственное дело, снова спускаются вниз, чтобы подать помощь своим слабым товарищам. Я видел, как один маленький муравей тащил пшеничное

зерно, употребляя к тому все свои силы. После тяжкого путешествия, почти в ту минуту, когда он достиг ящика, поспешность или что другое заставило его оборваться, и он упал в самый низ. Подобные случаи отнимали у других мужество. Я сошел вниз и нашел, что муравей все еще держит в лапках свое драгоценное зернышко и собирается снова подняться.

В первый раз он упал с половины дороги, в другой раз несколько выше, но во всех случаях он не расстался ни на минуту с своей добычей и не потерял мужества. Наконец, когда силы его совершенно истощились, он остановился, и уже другой муравей пришел к нему на помощь. И в самом деле, пшеничное зерно стоило этих усилий: оно было белое, полное.

Если этот рассказ вам понравился, то когда-нибудь расскажу вам побольше об этих интересных тварях, потому что я наблюдаю их с давнего времени и всегда нахожу что-нибудь новое, любопытное, которое вполне вознаграждает меня за мои усилия. Мне очень было весело доставлять моим муравьям разные маленькие удобства, и с тех пор я никогда не прохожу мимо муравейника, не вспоминая, что то, что нам кажется просто кучей сора, содержит в себе целое общество тварей деятельных, промышленных, которых сметливость и постоянство в исполнении своих обязанностей могут служить образцом для всего мира. Эта мысль не позволяет мне никогда трогать муравейник и нарушать спокойствие его жителей. Посмотри, ленивый мальчик, посмотри на муравья и старайся последовать его примеру.

Бедный Гнедко

— Посмотрите, посмотрите, мои друзья, какой злой извозчик, как он бьет лошадку!.. В самом деле, она бежит очень плохо... Отчего ж это? Ах, бедный Гнедко, да он хромает...

— Извозчик, извозчик! Как не стыдно: ведь ты совсем испортишь свою лошадь; ты ее до смерти убьешь...

— Что нужды, — отвечает извозчик. — Уж или мне, или ей умереть! Нынче праздник.

— То-то и есть, что праздник, любезный: ты подгулял да и не посмотрел, что лошадь потеряла подковку; оттого она поскользнулась, спотыкнулась и зашибла ногу. Что мудреного, что она не может бежать? Она, бедная, что шагнет, то ей больно: тут не побежишь. А ты знаешь, что тебе надо будет платить за ее лечение, за подковку, да еще хозяин тебя будет бранить. Так тебе хочется во что бы то ни стало выручить деньги, *навести*, как ты говоришь; теперь же благо праздник, езды много, платят дорого... Да бедная-то лошадка в чем виновата? Виноватый-то ты, глупый мальчик: зачем ты не смотрел за нею, зачем не видал, когда она потеряла подковку?

Но он не слушает нас, он уже далеко. Вон он на Неве и все погоняет бедную лошадь, а лошадь все спотыкается, и что шагнет, то ей больно. Бедная лошадка! Какое ей мученье!

А еще ребяташки бегут за санями да смеются и над лошадкой и над извозчиком. А он еще больше злится и вымещает свою злость на лошадке.

Но скажите, сделайте милость, как не стыдно этому толстому господину, который сидит в санях! Как он не запретит извозчику мучить бедную лошадку! Этот толстый господин завернулся в шубу, нахлобучил на глаза шляпу и сидит сиднем, как ни в чем не бывало.

— А мне что за дело, — бормочет про себя толстый господин, — я спешу на обед. Пусть извозчик убьет свою лошадь; не моя лошадь, мне что за дело.

Как вы думаете об этом, мои друзья? Будто оттого, что это не его лошадь, так и надобно ему смотреть равнодушно на ее мученье?

Бедный Гнедко! Как мне жаль его! Я давно знаю эту лошадку. Я помню, как она была еще жеребенком. Тогда, бывало, по весне солнце светит, птички чирикают, роса блестит на лужайках, в воздухе свежо и душисто. Вот Серко пашет землю, а наш жеребенок бегаёт вокруг матки: то подбежит к ней, то отскочит, пощиплет молодую травку, и опять к матери, и опять брыкнет: веселая тогда была его жизнь! Вечером возвратится домой: его встретят Ванюша с Дашею, расчешут его коротенькую гривку, вытрут соломкою. Уж как Ванюша с Дашею любили своего жеребеночка! Бывало, вместо того чтобы бегать без всякого дела, они нарвут молодой травки, положат в коробок и кормят своего жеребеночка; на ночь натаскают ему подстилки, да и днем кусочка хлеба не съедят, чтобы не поделиться с своим приятелем. И как жеребенок-то знал их! Бывало, издали увидит Ванюшу с Дашею, пустится к ним со всех ног, прибежит, остановится и смотрит на них, как собачка. В такой холе подрос наш жеребеночек, выровнялся и стал статною лошаdkoю. Вот отец Ванюши подумал, подумал, погадал: — Жалко такую лошадь в соху запречь; сведу-ка я ее в город, да продам; мне за нее цену двух лошадей дадут. — Сказано, сделано: свели Гнедка на Конную, в Петербург, продали извозчику. А уж как плакали Ванюша с Дашею, как они упрашивали извозчика беречь их Гнедка, не заставляя его возить тяжести, не мучить его... Они возвратились домой очень печальные: чего-то им не доставало. Отец радовался, что получил за Гнедка хорошие деньги, дети же горько плакали.

Но в этих разговорах мы прошли почти всю набережную... Посмотрите, посмотрите: что это там столпился народ!.. Пойдем. Ах, это наш бедный Гнедко! Посмотрите: он упал и не может больше встать; прохожие помогают извозчику поднять его; они поднимут, он опять упадет. Как нога у него вспухла! Сам извозчик теперь плачет навзрыд. «Подделом ему», — вы скажете; нет, не говорите этого: он уже сам видит свою вину и уже довольно наказан. Как он покажется на глаза хозяину? Да и что делать теперь с лошаdkoю? Оставить ее на улице нельзя; сама она идти не может; надо нанять другую лошадь с санями и на сани взвалить бедного Гнедка. Но на это нужны деньги, а у извозчика их нет: толстый господин рассердился, зачем лошадь упала, и не заплатил ничего... Бедный Гнедко! Он не может шевельнуться, зарыл голову в снег, тяжело дышит и поводит глазами, как бы требуя помощи. Бедный, он не может даже кричать, потому что лошади не кричат, как бы жестоко ни страдали. «Злой извозчик! Зачем ты так измучил бедного Гнедка?» — Но перестанем упрекать его, хотя он и много виноват, а лучше дадим ему денег, пусть он наймет товарища свезти Гнедка на квартиру, да прибавим совет: вперед не ездить на хромой лошади и не требовать от больной, чтобы она бежала, как здоровая. На днях пошлем узнать, лучше ли нашей лошаdke.

Вообще, друзья мои, грешно мучить бедных животных, которые нам служат для пользы или для удовольствия. Кто мучит животных без всякой нужды, тот дурной человек. Кто мучит лошадь, собаку, тот в состоянии мучить и человека. А иногда это бывает и очень опасно. Вы видели, как иногда дурные ребяташки дразнят на улице собак, кошек, бьют их, привязывают им палки к хвосту; послушайте же, что однажды случилось с такими ребяташками, как они жестоко были наказаны за свою злобную охоту.

Несколько лет тому назад здесь, в Петербурге, на площади, отстала от хозяина маленькая, смиренная собачка Шарло: она испугалась, прижалась к стене и не знала, что делать. Тогда окружили ее ребяташки; ну дразнить ее, ну бить, бросать камнями, таскать за хвост. Они вывели бедную собачку из терпения, она бросилась на них и некоторых укусила. Что же вышло? Собачка осталась здоровою, а ребяташки?.. Вы знаете, что бывает с человеком, когда его укусит бешеная собака? Он получает отвра-

щение к воде, желание укусить и умирает в ужаснейших терзаниях: подумать страшно! Поверите ли? То же случилось и с укушенными ребятами: они взбесились. Да, мои друзья, этот случай был новым доказательством того, что когда собаку долго дразнят и она, рассердившись, укусит, то ее укушение бывает так же опасно, как укушение бешеной собаки. Не мучьте же никакого животного, друзья мои, потому что это грешно и показывает злое сердце, и не мучьте собак, даже в шутку, потому что это и дурно, и опасно.

Столяр

Признайтесь, любезные читатели, вам, верно, часто случалось досадовать, когда в Новый год или в ваши именины родные или друзья дарили вас не клепером в золотой сброе, не часами с репетицией, не корзиной с конфетами, а книжкой. Еще более бывает вам, я думаю, досады, когда вы только что разбегаетесь за резвым кубарем, только что собираетесь попасть мячиком в неосторожного товарища, вам вдруг скажут, что пришел учитель. Да, это бывает очень досадно. Скажете: к чему эти книги, к чему учителя? Вообразите же: есть дети, которых не только не заставляют, но которым мешают учиться. Не правда ли, что такие дети должны быть очень счастливы, веселы, довольны! Как вы думаете? Странно только, что иные между этими счастливыми недовольны своим состоянием: они ищут... чего бы вы думали?., они ищут книжек, получают непреодолимое желание учиться! Не правда ли, что это довольно странно; однако же я вам говорю правду и в доказательство расскажу вам историю одного мальчика. Слушайте.

В 1739 году у одного бедного, неискусного столяра родился сын, по имени Андрей. Отец его не знал ни о чем на свете, кроме своей пилы, и потому готовил своего сына в столяры, что говорится, на живую нитку. Отец Андрея имел самое грубое понятие о своем ремесле; он работал, смотря, как другие работают, сам никогда не думая, как бы сделать лучше других. Долго Андрей был помощником своего отца, пилил дерево пилою, строгал его рубанком, вертел дыры буравом или склеивал доски, связывая их плотно, чтобы склеенное не развалилось до тех пор, пока клей не высохнет. Но мало-помалу Андрею пришло в голову, что можно и должно лучше работать. От этой мысли он перешел к другой. Чтобы лучше работать, подумал он, мало снимать мерку с чужой работы и делать так, как другие делают, а надо работать не одними руками, но и головою. Он чувствовал это, но у кого научиться думать? Шутка — работать головою? Он спрашивал у своих товарищей, нельзя ли, например, вырезать круг или овал легче, нежели как они делают, т. е. не накладывая всякий раз дощечки, которую они как-то достали в чужой мастерской и которая часто им не годилась, особенно когда надо было сделать круг больше или меньше или овал длиннее. Работники смеялись над вопросами Андрея, говоря, что им и в голову не приходило кого-нибудь об этом спрашивать; что благо у них есть дощечка, по которой можно вырезать, они так и делают; а от добра — добра не ищут. Андрей не был доволен этими ответами. Ходя по домам, он рассматривал мебель, сделанную другими славными мастерами, и замечал, что работники его отца не в состоянии были сделать такую работу. Часто они работали прямо с мебели какого-нибудь славного мастера. Казалось, и мерку снимали точь-в-точь, так же строгали, так же наклеивали, но все выходило то же, да не то: то один бок больше другого, то круг неровно выведен, то угол выдался, то едва сделают — развалится. Долго думал Андрей: отчего бы это происходило. Стараясь знакомиться с работниками жившего подле них органного мастера, он нечаянно узнал, что их хозяин был человек грамотный. Это открытие очень его удивило, ибо до

тех пор он не слыхивал, чтобы мастеровому надо было знать грамоту. Расспрашивая снова работников о том, как их хозяин распоряжается работами, он узнал, что хозяин смотрит в книжки, что в этих книжках есть рисунки и планы, что он делает круги не по дощечке, а каким-то инструментом, который называется циркулем, что углы у них выводят не наобум, а по особенной какой-то линейке. Тогда Андрей понял, отчего в мастерской его отца все не так идет, как в мастерской его соседа. Он понял, что сосед их был человек ученый, а что отцу и его работникам неученье мешало хорошо работать. Тогда в молодом Андрее родилось сильное желание выучиться грамоте, чтобы потом посмотреть в книжки, понять в них планы, а потом, что узнает, попробовать на деле. Работники стали смеяться, узнавши о намерении Андрея. Отец, как человек необразованный, не запретил ему учиться грамоте, но объявил, что денег на ученье ему не даст, да и не позволит ему терять на ученье то время, в которое работники бывают в мастерской; «ибо, — прибавил отец, — ты что ни говори, а грамота вздор; главное дело — сработать как-нибудь да продать».

Андрей на все согласился. Отец наравне с другими работниками давал ему дневное, очень небольшое жалованье на пищу. Андрей откладывал от этих денег больше половины и платил их учителю, который выучил его грамоте в промежутках между работою, когда другие обедали или отдыхали. Выучившись грамоте, он принялся читать книги, какие только мог найти. Книги стоили дорого; часто Андрей оставался целый день голодным, потому что все свои деньги употреблял на покупку какого-нибудь учебного сочинения или рисунка. Тяжело было ему, бедняжке: днем он работал прилежно, а чтоб учиться, он вставал раньше всех, ложился спать всех позже, и такова была его нищета, что ему не на что было купить масла для лампадки, при свете которой он читал свои книжки. Бедняжка с большим тщанием собирал, где ему попадались, огарки, всякий жир, сало, которое выбрасывали из кухонь, сплавлял все это вместе и наполнял свою лампадку. Часто ночью, трудясь над добытою кровными деньгами книжкою, он многого не понимал, несколько раз перечитывал одно и то же место, но все ему не давалось: то одно слово ему было непонятно, то другое. У него не было, любезные читатели, учителей, как у вас, не у кого было ему спросить; но Андрей не терял бодрости, и часто его усиленный труд награждался особенным образом: то, чего он не понимал в одной книжке, объяснялось ему в другой. О, как легко, как весело было ему на душе! Как благодарил он Бога, что послал ему благую мысль учиться! А работники все смеялись над бедным Андреем; да что, и отец бранил его, что он попустому теряет время и силы. Каково было бедному Андрею!

Несмотря на голод, на холод, на недостаток в свете, на недостаток книг, на недостаток всего того, что окружает вас, любезные читатели, и без чего, кажется, человеку нельзя обойтись, Андрей в скором времени выучился чисто писать, рисовать, арифметике, геометрии. Но всего этого ему было мало, потому что он уже знал, он догадывался, как много еще не знает. Но где было ему продолжать учиться? Книжки, которые ему теперь были нужны, превосходили ценою все его годовое содержание. Бедный Андрей был в отчаянии. Часто работая до поту лица над своим верстаком и мучимый благородною жаждою познаний, которую испытывают все ученые люди, Андрей горько-горько плакал. А товарищи его все смеялись над ним; а отец все бранил его за грамоту и часто сбирался обобрать у него все книги. Подумайте, друзья, что бы вы сделали на месте Андрея? Бросили бы книги в печку, и арифметику, и геометрию, а за ними и рисунки; принялись бы хорошо обедать, хорошо спать или гулять в свободное время; не правда ли?.. Нет, я не верю этому. Я знаю, что между вами есть многие, которые понимают, о чем плакал Андрей, которых также мучит желание знать, желание выучиться, быть умным и полезным человеком. Ну, послушайте ж, что дальше будет: не целый век быть горю, есть и радость. Бог никогда не оставляет людей, которые в молодости имеют страсть к учению. Он им помогает.

Однажды отец отправил Андрея с какою-то работою к г. Блонделю, профессору архитектуры, очень ученому члену Академии Художеств. Умный вид мальчика поразило его; ибо надо вам заметить, что у тех людей, которые много учатся, всегда лицо само собою делается умным и привлекательным, оттого что на лице человека выходит все, что он думает и чувствует. Если у него в голове одни шалости, то и на лице у него написано, что шалун.

Если он внутренне злится, хотя и боится показать свою злость, то и лицо у него делается злое, что отвратительно видеть. Если просто любит зевать по сторонам и ничего не делать, то и лицо делается глупое, как у обезьяны. Но мы знаем, что наш Андрей был умный, добрый мальчик и любил учиться; на лице у него это все так и было выпечатано. И немудрено, что умный профессор тотчас обратил на него внимание. Из любопытства Блондель заговорил с Андреем и очень удивился, заметив, что простой сын ремесленника имеет понятие о таких науках, о которых плохо знают и дети богатых людей, ничего не жалеющих для найма учителей. Словом, Андрей так понравился Блонделю, что почтенный профессор взял его немедленно в школу архитектуры, которая находилась под его ведением.

В этой школе Андрей провел пять лет. Не нужно мне вам сказывать, хорошо ли он учился. Днем он продолжал заниматься своим столярным ремеслом, которое ему доставляло деньги, нужные для его содержания, а вечером учился разным частям математики, механики, архитектуре, перспективе, рисованию. Его познания объяснили много такого в его столярном ремесле, чего он прежде не понимал. Все выходившее из его мастерской было отделано как нельзя лучше и покупалось нарасхват. Наконец, он так далеко подвинулся в науках, что решился написать сочинение о своем мастерстве. В это время Парижская Академия Наук издавала книгу, в которой описывались разные ремесла; наш Андрей осмелился представить Академии свое сочинение. И что же? Произведение бедного ремесленника было вполне одобрено Академиею, которая, воздавая похвалы нашему Андрею, прибавила желание, чтобы все ремесленники последовали его примеру и старались бы выучиться столько, чтобы уметь ясно написать сочинение о своем ремесле.

Все это не выдумка. Андрей, действительно, существовал; он известен во Франции под именем славного архитектора Андрея Рубо. Он написал много сочинений об архитектуре, о плотничном и столярном ремеслах, сам печатал свои сочинения, рисовал к ним рисунки и планы, сам гравировал и, таким образом, в одном своем лице соединил качества отличного ремесленника, писателя, живописца и гравера. Многие здания построены во Франции Андреем Рубо. Он всегда был завален работою и провел жизнь свою в богатстве, почитаемый своими согражданами. Когда будете учиться архитектуре, вы еще лучше познакомитесь с нашим Андреем.

Мороз Иванович

Нам даром, без труда ничего не достается, —
Недаром исстари пословица ведется.

В одном доме жили две девочки: Рукодельница да Ленивица, а при них нянюшка. Рукодельница была умная девочка, рано вставала, сама без нянюшки одевалась, а вставши с постели, за дело принималась: печку топила, хлебы месила, избу мела, петуха кормила, а потом на колодезь за водой ходила. А Ленивица между тем в постельке лежала; уж давно к обеду звонят, а она еще все потягивается: с боку на бок переваливается; уж разве наскучит лежать, так скажет спросонья: «Нянюшка, надень

мне чулочки, нянюшка, завяжи башмачки»; а потом заговорит: «Нянюшка, нет ли булочки?» Встанет, попрыгает, да и сядет к окошку мух считать, сколько прилетело да сколько улетело. Как всех пересчитает Ленивица, так уж и не знает, за что приняться и чем бы заняться; ей бы в постельку — да спать не хочется; ей бы покушать — да есть не хочется; ей бы к окошку мух считать — да и то надоело; сидит горемычная и плачет да жалуется на всех, что ей скучно, как будто в том другие виноваты.

Между тем Рукодельница воротится, воду процедит, в кувшины нальет; да еще какая затейница: коли вода нечиста, так свернет лист бумаги, наложит в нее угольков да песку крупного насыпет, вставит ту бумагу в кувшин да нальет в нее воды, а вода-то знай проходит сквозь песок да сквозь уголья и каплет в кувшин чистая, словно хрустальная; а потом Рукодельница примется чулки вязать или платки рубить, а не то и рубашки шить да кроить да еще рукодельную песенку затянет; и не было никогда ей скучно, потому что и скучать-то было ей некогда: то за тем, то за другим делом, тут, смотришь, и вечер, — день прошел.

Однажды с Рукодельницей беда приключилась: пошла она на колодезь за водой, опустила ведро на веревке, а веревка-то и оборвись, упало ведро в колодезь. Как тут быть? Расплакалась бедная Рукодельница да и пошла к нянюшке рассказывать про свою беду и несчастье, а нянюшка Прасковья была такая строгая и сердитая, говорит:

— Сама беду сделала, сама и поправляй. Сама ведерко утопила, сама и доставай.

Нечего делать было; пошла бедная Рукодельница опять к колодезю, ухватилась за веревку и спустилась по ней к самому дну.

Только тут с ней чудо случилось. Едва спустилась — смотрит: перед ней печка, а в печке сидит пирожок, такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня из печки возьмет, тот со мной и пойдет.

Рукодельница, нимало не мешкая, схватила лопатку, вынула пирожок и положила его за пазуху.

Идет она дальше. Перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят и промеж себя говорят:

— Мы, яблочки, наливные, созревшие, корнем дерева питались, студеной водой обмывались; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

Рукодельница подошла к дереву, потрясла его за сучок, и золотые яблочки так и посыпались к ней в передник.

Рукодельница идет дальше. Смотрит: перед ней сидит старик Мороз Иванович, седой-седой; сидит он на ледяной лавочке да снежные комочки ест; тряхнет головой — от волос иней сыплется, духом дохнет — валит густой пар.

— А! — сказал он, — здорово, Рукодельница; спасибо, что ты мне пирожок принесла: давным-давно уж я ничего горяченького не ел.

Тут он посадил Рукодельницу возле себя, и они вместе пирожком позавтракали, а золотыми яблочками закусили.

— Знаю я, зачем ты пришла, — говорил Мороз Иванович, — ты ведерко в мой студенец опустила; отдать тебе ведерко отдам, только ты мне за то три дня прослужи; будешь умна, тебе ж лучше; будешь ленива, тебе ж хуже. А теперь, — прибавил Мороз Иванович, — мне, старику, и отдохнуть пора; поди-ка приготовь мне постель, да смотри взбей хорошенько перину.

Рукодельница послушалась... Пошли они в дом. Дом у Мороза Ивановича сделан был изо льду: и двери, и окошки, и пол ледяные, а по стенам убрано снежными звездочками; солнышко на них сияло, и все в доме блестело как бриллианты. На постели у Мороза Ивановича вместо перины лежал снег пушистый; холодно, а делать было не-

чего. Рукодельница принялась взбивать снег, чтобы старику было мягче спать, а меж тем у ней, бедной, руки окостенели и пальчики побелели, как у бедных людей, что зимой в проруби белье полощут; и холодно, и ветер в лицо, и белье замерзает, колом стоит, а делать нечего — работают бедные люди.

— Ничего, — сказал Мороз Иванович, — только снегом пальцы потри, так и отойдут, не отзнобишь. Я ведь старик добрый; посмотри-ка, что у меня за диковинки.

Тут он приподнял свою снежную перину с одеялом, и Рукодельница увидела, что под периною пробивается зеленая травка. Рукодельнице стало жаль бедной травки.

— Вот ты говоришь, — сказала она, — что ты старик добрый, а зачем ты зеленую травку под снежной периной держишь, на свет Божий не выпускаешь?

— Не выпускаю, потому что еще не время; еще трава в силу не вошла. Добрый мужичок ее осенью посеял, она и взошла, и кабы вытянулась она, то зима бы ее захватила и к лету травка бы не вызрела. Вот я, — продолжал Мороз Иванович, — и прикрыл молодую зелень моею снежною периной, да еще сам прилег на нее, чтобы снег ветром не разнесло, а вот придет весна, снежная перина растает, травка заколосится, а там, смотришь, выгянет и зерно, а зерно мужик соберет да на мельницу отвезет; мельник зерно смелет, и будет мука, а из муки ты, Рукодельница, хлеб испечешь.

— Ну, а скажи мне, Мороз Иванович, — сказала Рукодельница, — зачем ты в колодце-то сидишь?

— Я затем в колодце сижу, что весна подходит, — сказал Мороз Иванович. — Мне жарко становится; а ты знаешь, что и летом в колодце холодно бывает, от того и вода в колодце студеная, хоть посреди самого жаркого лета.

— А зачем ты, Мороз Иванович, — спросила Рукодельница, — зимой по улицам ходишь да в окошки стучишься?

— А я затем в окошки стучусь, — отвечал Мороз Иванович, — чтоб не забывали печей топить да трубы вовремя закрывать; а не то, ведь я знаю, есть такие неряхи, что печку истопить истопят, а трубу закрыть не закроют или и закрыть закроют, да не вовремя, когда еще не все угольки прогорели, а оттого в горнице угарно бывает, голова у людей болит, в глазах зелено; даже и совсем умереть от угара можно. А затем еще я в окошко стучусь, чтобы люди не забывали, что они в теплой горнице сидят или надевают теплую шубку, а что есть на свете нищенские, которым зимою холодно, у которых нету шубки, да и дров купить не на что; вот я затем в окошко стучусь, чтобы люди нищенским помогать не забывали.

Тут добрый Мороз Иванович погладил Рукодельницу по головке да и лег почивать на свою снежную постельку.

Рукодельница меж тем все в доме прибрала, пошла на кухню, кушанье изготовила, платье у старика починила, белье выштопала.

Старичок проснулся; был всем очень доволен и поблагодарил Рукодельницу. Потом сели они обедать; стол был прекрасный, и особенно хорошо было мороженое, которое старик сам изготовил.

Так прожила Рукодельница у Мороза Ивановича целые три дня.

На третий день Мороз Иванович сказал Рукодельнице:

— Спасибо тебе, умная ты девочка; хорошо ты старика, меня, утетила, но я у тебя в долгу не останусь. Ты знаешь: люди за рукоделье деньги получают, так вот тебе твое ведерко, а в ведерко я всыпал целую горсть серебряных пяточков; да сверх того, вот тебе, на память, бриллиантик — косыночку закалывать.

Рукодельница поблагодарила, приколола бриллиантик, взяла ведерко, пошла опять к колодцу, ухватилась за веревку и вышла на свет Божий.

Только что она стала подходить к дому, как петух, которого она всегда кормила, увидел ее, обрадовался, взлетел на забор и закричал:

Кукурекú, кукурекí!
У Рукодельницы в ведерке пятаки!

Когда Рукодельница пришла домой и рассказала все, что с ней было, нянюшка очень дивовалась, а потом примолвила:

— Вот видишь ты, Ленивица, что люди за рукоделье получают. Поди-ка к старичку да послужи ему, поработай: в комнате у него прибирай, на кухне готовь, платье чини да белье штопай, так и ты горсть пяточков заработаешь, а оно будет кстати: у нас к празднику денег мало.

Ленивице очень не по вкусу было идти к старику работать. Но пяточки ей получить хотелось и бриллиантовую булавочку тоже.

Вот, по примеру Рукодельницы, Ленивица пошла к колодцу, схватилась за веревку, да и бух прямо ко дну.

Смотрит: и перед ней печка, а в печке сидит пирожок такой румяный, поджаристый; сидит, поглядывает да приговаривает:

— Я совсем готов, подрумянился, сахаром да изюмом обжарился; кто меня возьмет, тот со мной и пойдет!

А Ленивица ему в ответ:

— Да, как же не так! Мне себя утомлять, лопатку поднимать да в печку тянуться; захочешь, сам выскочишь.

Идет она далее, перед нею сад, а в саду стоит дерево, а на дереве золотые яблочки; яблочки листьями шевелят да промеж себя говорят:

— Мы, яблочки, наливные, созрелые; корнем дерева питаемся, студеной росой обмываемся; кто нас с дерева стрясет, тот нас себе и возьмет.

— Да, как бы не так! — отвечала Ленивица, — мне себя утомлять, ручки поднимать, за сучья тянуть, успею набрать, как сами попадают!

И прошла Ленивица мимо их. Вот дошла она до Мороза Ивановича. Старик попрежнему сидел на ледяной скамеечке да снежные комочки покусывал.

— Что тебе надобно, девочка? — спросил он.

— Пришла я к тебе, — отвечала Ленивица, — послужить да за работу получить.

— Дельно ты сказала, девочка, — отвечал старик, — за работу деньга следует; только посмотрим — какова еще твоя работа будет. Поди-ка взбей мою перину, а потом кушанье изготовь, да платье мое повычини, да белье повыштопай.

Пошла Ленивица, а дорогой думает:

«Стану я себя утомлять да пальцы знобить! Авось старик не заметит и на невзбитой перине уснет».

Старик в самом деле не заметил или прикинулся, что не заметил, лег в постель и заснул, а Ленивица пошла на кухню.

Пришла на кухню, да и не знает, что делать. Кушать-то она любила, а подумывать, как готовилось кушанье, это ей и в голову не приходило; да и лень было ей посмотреть.

Вот она огляделась: лежит перед ней и зелень, и мясо, и рыба, и уксус, и горчица, и квас, все по порядку. Вот она думала, думала, кое-как зелень обчистила, мясо и рыбу разрешила, да чтоб большого труда себе не давать, то, как все было, мытое-немытое, так и положила в кастрюлю: и зелень, и мясо, и рыбу, и горчицу, и уксус да еще квасу подлила, а сама думает: «Зачем себя трудить, каждую вещь особо варить? Ведь в желудке все вместе будет».

Вот старик проснулся, просит обедать. Ленивица притащила ему кастрюлю, как есть, даже скатерть не подостлала. Мороз Иванович попробовал, поморщился, а песок так и захрустел у него на зубах.

— Хорошо ты готовишь, — заметил он, улыбаясь. — Посмотрим, какова твоя другая работа будет.

Ленивица отведала, да тотчас и выплюнула, индо ей стошнило; а старик покряхтел, покряхтел, да принялся сам готовить кушанье и сделал обед на славу, так что Ленивица пальчики облизала, кушая чужую стряпню.

После обеда старик опять лег отдохнуть, да припомнил Ленивице, что у него платье не починено да и белье не выштопано.

Ленивица понадулась, а делать было нечего: принялась платье и белье разбирать; да и тут беда: платье и белье Ленивица нашивала, а как его шьют, о том и не спрашивала; взяла было иголку, да с непривычки укололась; так ее и бросила.

А старик опять будто бы ничего не заметил, ужинать Ленивицу позвал да еще спать ее уложил.

А Ленивице-то и любо; думает себе:

«Авось и так пройдет. Вольно было сестрице на себя труд принимать: старик добрый, он мне и так задаром пяточков подарит».

На третий день приходит Ленивица и просит Мороза Ивановича ее домой отпустить да за работу наградить.

— Да какая же была твоя работа? — спросил старичок. — Уж коли на правду дело пошло, так ты мне должна заплатить, потому что не ты для меня работала, а я тебе служил.

— Да, как же! — отвечала Ленивица, — я ведь у тебя целые три дня жила.

— Знаешь, голубушка, — отвечал старичок, — что я тебе скажу: жить и служить разница, да и работа работе розь. Заметь это: вперед пригодится. Но, впрочем, если тебя совесть не зазрит, я тебя награжу: и какова твоя работа, такова будет тебе и награда.

С сими словами Мороз Иванович дал Ленивице пребольшой серебряный слиток, а в другую руку пребольшой бриллиант. Ленивица так этому обрадовалась, что схватила то и другое и, даже не поблагодарив старика, домой побежала.

Пришла домой и хвастается:

— Вот, — говорит, — что я заработала: не сестре чета, не горсточку пяточков да не маленький бриллиантик, а целый слиток серебряный, вишь какой тяжелый, да и бриллиант-то чуть не с кулак... Уж на это можно к празднику обнову купить...

Не успела она договорить, как серебряный слиток растаял и полился на пол; он был не иное что, как ртуть, которая застыла от сильного холода; в то же время начал таять и бриллиант, а петух вскочил на забор и громко закричал:

Кукурекú, кукурекúлька!

У Ленивицы в руках ледяная сосулька.

А вы, детушки, думайте, гадайте: что здесь правда, что неправда; что сказано впрямь, что стороною; что шутки ради, что в наставленьи, а что намеком. Да и то смекните, что не за всякий труд и добро награда бывает; а бывает награда ненароком, потому что труд и добро сами по себе хороши и ко всякому делу пригодны; так уж Богом устроено. Сами только чужого добра да и труда без награды не оставляйте, а покамест от вас награда — ученье да послушанье.

Меж тем и старого дедушку Иринейя не забывайте, а он для вас много рассказней наготовил; дайте только старику о весне с силами да с здоровьем собраться.

О четырех глухих

(Индийская сказка)

Посвящается маленьким Графиням
Екатерине и Александре Коссоковским

Возьмите карту Азии, отсчитайте параллельные линии от Экватора к Северному, или Арктическому полюсу (т. е. в широту) начиная с 8-го градуса по 35-й и от Парижского меридиана по Экватору (или в долготу) начиная с 65-го по 90-й; между линиями, проведенными на карте по этим градусам, вы найдете в знойном полюсе под тропиком Рака остроконечную полосу, выдающуюся в Индейское море: эта земля называется Индией, или Индостаном, и также называют ее Восточною или Большою Индией, что не смешать с тою землею, которая находится на противоположной стороне полушария и называется Западною, или Малою Индией. К Восточной Индии принадлежит также остров Цейлон, на котором, как вы, верно, знаете, много жемчужных раковин. В этой земле живут Индийцы, которые разделяются на разные племена, точно так же, как мы, русские, имеем племена Великороссов, Малороссиян, поляков и проч. Из этой земли привозят в Европу разные вещи, которые каждый день вами употребляются: хлопчатую бумагу, из нее делают вату, которою подбивают ваши теплые капоты; заметьте, что хлопчатая бумага растет на дереве; черные шарики, которые иногда попадают в вату, суть не что иное, как семена этого растения, сарагинское тлено, из которого варят кашу и которым для вас настаивают воду, когда вы нездоровы; сахар, с которым вы кушаете чай; селитру, от которой загорается трут, когда высекают огонь из кремня стальною дощечкою; перец, эти кругленькие шарики, которые толкут в порошок, очень горькие и которых вам маменька не дает, потому что перец нездоров для детей; сандаловое дерево, которым красят разные материи в красную краску; индиго, которым красят в синюю краску, корицу, которая так хорошо пахнет: это корка с дерева; шелк, из которого делают тафту, атлас, блонды; насекомых, называющихся кошенилью, из которых делают превосходную пурпуровую краску; драгоценные камни, которые вы видите в серьгах у вашей маменьки, тигровую кожу, которая лежит у вас, вместо ковра, в гостиной. Все эти вещи привозятся из Индии. Эта страна, как видите, очень богата, только в ней очень жарко. Большею частью Индии владеют английские купцы, или так называемая Ост-Индская компания. Она торгует всеми этими предметами, о которых мы выше сказали, потому что сами жители очень ленивы; большая часть из них **веруют в божество, которое известно под названием Тримурти** и разделяется на трех богов: Брахму, Вишну и Шивана. Брама самый главный из богов, а потому и жрецы носят название браминов. Для этих божеств у них построены храмы, очень странной, но красивой архитектуры, которые называются пагодами и которые вы, верно, видали на картинках, а если не видали, то посмотрите. — Индийцы очень любят сказки, повести и рассказы всякого рода. На их древнем языке, на санскритском (который, заметьте, похож на наш русский), написано много прекрасных стихотворных сочинений; но этот язык теперь для большей части индийцев непонятен: они говорят другими, новыми наречиями. Вот одна из новейших сказок этого народа; Европейцы подслушали ее и перевели, а я расскажу ее вам, как умею; она очень смешна, и по ней вы получите некоторое понятие об индийских нравах и обычаях *.

* Чтобы получить подробнейшие сведения об Индии, мы советуем нашим читателям прочесть статью об стране в Путешествии капитана Друвилля. На русском языке существуют два перевода этой книги, и оба хорошие. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

Невдалеке от деревни пастух пас овец. Было уже за полдень, и бедный пастух очень проголодался. Правда, он, выходя из дому, велел своей жене принести себе в поле позавтракать, но жена, как будто нарочно, не приходила.

Призадумался бедный пастух: идти домой нельзя — как оставить стадо? Того и гляди, что раскрадут; остаться на месте — еще хуже: голод замучит. Вот он посмотрел туда, сюда, видит — тальяри * косит траву для своей коровы. Пастух подошел к нему и сказал:

— Одолжи, любезный друг: посмотри, чтобы мое стадо не разбрелось. Я только схожу домой позавтракать, а как позавтракаю, тотчас возвращусь и щедро награжу тебя за твою услугу.

Кажется, пастух поступил очень благоразумно; да и действительно он был малый умный и осторожный. Одно в нем было худо: он был глух, да так глух, что пушечный выстрел над ухом не заставил бы его оглянуться; а что всего хуже: он и говорил-то с глухим.

Тальяри слышал ничуть не лучше пастуха, и потому немудрено, что из пастуховой речи он не понял ни слова. Ему показалось, напротив, что пастух хочет отнять у него траву, и он закричал с сердцем:

— Да что тебе за дело до моей травы? Не ты ее косил, а я. Не подыхать же с голоду моей корове, чтобы твое стадо было сыто? Что ни говори, а я не отдам этой травы. Убирайся прочь!

При этих словах тальяри в гневе потряс рукою, а пастух подумал, что он обещается защищать его стадо, и, успокоенный, поспешил домой, намереваясь задать жене своей хорошую головомойку, чтоб она впредь не забывала приносить ему завтрак.

Подходит пастух к своему дому — смотрит: жена его лежит на пороге, плачет и жалуется. Надобно вам сказать, что вчера на ночь она неосторожно покушала, да говорят еще — сырого горошку, а вы знаете, что сырой горошек во рту слаще меда, а в желудке тяжелей свинца.

Наш добрый пастух постарался, как умел, помочь своей жене, уложил ее в постель и дал горькое лекарство, от которого ей стало лучше. Между тем он не забыл и позавтракать. За всеми этими хлопотами ушло много времени, и на душе у бедного пастуха стало беспокойно. «Что-то делается со стадом? Долго ли до беды!» — думал пастух. Он поспешил воротиться и, к великой своей радости, скоро увидел, что его стадо спокойно пасется на том же месте, где он его оставил. Однако же, как человек благоразумный, он пересчитал всех своих овец. Их было ровно столько же, сколько перед его уходом, и он с облегчением сказал самому себе: «Честный человек этот тальяри! Надо наградить его».

В стаде у пастуха была молодая овца: правда, хромя, но прекрасно откормленная. Пастух взвалил ее на плечи, подошел к тальяри и сказал ему:

— Спасибо тебе, господин тальяри, что поберег мое стадо! Вот тебе целая овца за твои труды.

Тальяри, разумеется, ничего не понял из того, что сказал ему пастух, но, видя хромя оvcу, вскричал с сердцем:

— А мне что за дело, что она хромяет! Откуда мне знать, кто ее изувечил? Я и не подходил к твоему стаду. Что мне за дело?

— Правда, она хромяет, — продолжал пастух, не слыша тальяри, — но все-таки это славная овца — и молода и жирна. Возьми ее, зажарь и скушай за мое здоровье с твоими приятелями.

* Тальяри — деревенский сторож. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

— Отойдешь ли ты от меня наконец! — закричал тальяри вне себя от гнева. — Я тебе еще раз говорю, что я не ломал ног у твоей овцы и к стаду твоему не только не подходил, а даже и не смотрел на него.

Но так как пастух, не понимая его, все еще держал перед ним хроющую овцу, расхваливая ее на все лады, то тальяри не вытерпел и замахнулся на него кулаком.

Пастух, в свою очередь, рассердившись, приготовился к горячей обороне, и они, верно, подрались бы, если бы их не остановил какой-то человек, проезжавший мимо верхом на лошади.

Надо вам сказать, что у индийцев существует обычай, когда они заспорят о чем-нибудь, просить первого встречного рассудить их.

Вот пастух и тальяри и ухватились, каждый со своей стороны, за узду лошади, чтоб остановить верхового.

— Сделайте милость, — сказал всаднику пастух, — остановитесь на минуту и рассудите: кто из нас прав и кто виноват? Я дарю этому человеку овцу из моего стада в благодарность за его услуги, а он в благодарность за мой подарок чуть не прибил меня.

— Сделайте милость, — сказал тальяри, — остановитесь на минуту и рассудите: кто из нас прав и кто виноват? Этот злой пастух обвиняет меня в том, что я изувечил его овцу, когда я и не подходил к его стаду.

К несчастью, выбранный ими судья был также глух и даже, говорят, больше, нежели они оба вместе. Он сделал знак рукою, чтобы они замолчали, и сказал:

— Я вам должен признаться, что эта лошадь точно не моя: я нашел ее на дороге, и так как я очень тороплюсь в город по важному делу, то, чтобы скорее поспеть, я и решился сесть на нее. Если она ваша, возьмите ее; если же нет, то отпустите меня поскорее: мне некогда здесь дольше оставаться.

Пастух и тальяри ничего не расслышали, но каждый почему-то вообразил, что ездок решает дело не в его пользу.

Оба они еще громче стали кричать и браниться, упрекая в несправедливости избранного ими посредника.

В это время по дороге проходил старый брамин.

Все три спорщика бросились к нему и стали наперебой рассказывать свое дело. Но брамин был так же глух, как они.

— Понимаю! Понимаю! — отвечал он им. — Она послала вас упросить меня, чтоб я воротился домой (брамин говорил про свою жену). Но это вам не удастся. Знаете ли вы, что во всем мире нет никого сварливее этой женщины? С тех пор как я на ней женился, она меня заставила наделать столько грехов, что мне не смыть их даже в священных водах реки Ганга *. Лучше я буду питаться милостынею и проведу остальные дни мои в чужом краю. Я решился твердо; и все ваши уговоры не заставят меня переменить моего намерения и снова согласиться жить в одном доме с такою злою женою.

Шум поднялся больше прежнего; все вместе кричали изо всех сил, не понимая один другого.

Между тем тот, который украл лошадь, завидя издали бегущих людей, принял их за хозяев украденной лошади, проворно соскочил с нее и убежал.

Пастух, заметив, что уже становится поздно и что стадо его совсем разбрелось, поспешил собрать своих овечек и погнал их в деревню, горько жалуясь, что нет на земле справедливости, и приписывая все огорчения нынешнего дня змее, которая переползла через дорогу в то время, когда он выходил из дому, — у индийцев есть такая примета.

* Брамины думают, что душа человека переходит после смерти в другое тело и в этой второй жизни претерпевает наказание за грехи, сделанные человеком в первой. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

Тальяри возвратился к своей накошенной траве и, найдя там жирную овцу, невинную причину спора, взвалил ее на плечи и понес к себе, думая тем наказать пастуха за все обиды.

Брамин добрался до ближней деревни, где и остановился ночевать. Голод и усталость несколько утешили его гнев. А на другой день пришли приятели и родственники и уговорили бедного брамина воротиться домой, обещая усовестить его сварливую жену и сделать ее послушнее и смиреннее.

Знаете ли, друзья, что может прийти в голову, когда прочитаешь эту сказку? Кажется, вот что: на свете бывают люди, большие и малые, которые хотя и не глухи, а не лучше глухих: что говоришь им — не слушают; в чем уверяешь — не понимают; сойдутся вместе — заспорят, сами не зная о чем. Ссорятся они без причины, обижаются без обиды, а сами жалуются на людей, на судьбу или приписывают свое несчастье нелепым приметам — просыпанной соли, разбитому зеркалу. Так, например, один мой приятель никогда не слушал того, что учитель говорил ему в классе, и сидел на скамейке словно глухой. Что же вышло? Он вырос дурак дураком: за что ни примется, ничто ему не удается.

Умные люди об нем жалеют, хитрые его обманывают, а он, видите ли, жалуется на судьбу, что будто бы несчастливый родился.

Сделайте милость, друзья, не будьте глухи! Уши нам даны для того, чтобы слушать. Один умный человек заметил, что у нас два уха и один язык и что, стало быть, нам надобно больше слушать, нежели говорить.

Червячок

— Смотри-ка, Миша, — говорила Лизанька, остановившись возле цветущего кустарника, — кто-то наклеил на листок хлопчатую бумагу; не ты ли это?

— Нет, — отвечал Миша, — разве Саша или Володя?

— Где Володе это сделать? — продолжала Лизанька, — посмотри, как искусно растянуты эти тоненькие ниточки и как крепко держатся на зеленом листке.

— Смотри-ка, — сказал Миша, — там что-то круглое!

С сими словами проказник хотел было сдернуть наклеенный хлопок.

— Ах, нет! не трогай! — вскричала Лизанька, удерживая Мишу и присматриваясь к листочку, — тут червячок, видишь, шевелится.

Дети не ошиблись: в самом деле, на листке цветущего кустарника, под легким прозрачным одеяльцем, похожим на хлопчатую бумагу, в тонкой скорлупке лежал червячок. Уже давно лежал он там, давно уже ветерок качал его колыбельку, и он сладко дремал в своей воздушной постельке. Разговор детей пробудил червячка; он просверлил окошко в своей скорлупке, выглянул на Божий свет, смотрит — светло, хорошо, и солнышко греет; задумался наш червячок.

— Что это, — говорит он, — никогда мне еще так тепло не бывало; видно, не дурно на Божьем свете; дай, подвинусь дальше.

Еще раз он стукнул в скорлупку, и окошечко сделалось дверцей; червячок просунул головку еще, еще и, наконец, совсем вылез из скорлупки. Смотрит сквозь свой прозрачный занавес, и возле него на листке капля сладкой росы, и солнышко в ней играет, и как будто радужное сияние ложится от нее на зелень.

— Дай-ка напьюсь сладкой водицы, — сказал червячок; потянулся, а не тут-то было. Кто это? Верно, маменька червячка так крепко прикрепила занавеску, нельзя и приподнять ее даже! Что же делать? Вот наш червячок посмотрел, посмотрел да и принялся подтачивать то ту ниточку, то другую; работал, работал, и, наконец, под-

нялась занавеска; червячок подлез под нее и напился сладкой водицы. Весело ему на свежем воздухе; теплый ветерок пышет на червячка, колышет струйку росы и с цветов сыплет на него душистую пыль.

— Нет, — говорит червячок, — уж вперед меня не обмануть! Зачем мне опять идти под душное одеяло и сосать сухую скорлупку? Останусь-ка я лучше на просторе; здесь много душистых цветов, много и крючочков рассыпано по листьям; есть за что уцепиться...

Не успел червячок выговорить, как вдруг — смотрит, листья между собой зашумели и мошки в тревоге зажужжали; небо потемнело, само солнышко со страха спряталось за тучку; вороны каркают; утки гогочут; и вот дождик полился ливнем. Под бедным червячком целое море; волною захлестнуло малютку, дрожь пробежала по его тонкой кожице; и холодно, и страшно ему стало. Едва он опомнился, собрал силы и снова, поматывая головкой, побрел под хлопчатую занавеску, в родимую постельку.

Вот согрелся малютка. Между тем дождик перестал, солнышко опять показалось и рассыпалось мелкими искрами по дождевым каплям.

— Нет, — сказал опять червячок, — теперь меня не обмануть; зачем мне выходить из родимого гнездышка на холод и сырость? Видишь, солнышко какое хитрое: приманит, пригреет, а нет, чтобы от дождя защитить!

Вот прошел день, прошел другой, прошел третий. Червячок все лежит в хлопчатом одеяльце, с боку на бок переваливается, иногда выставит головку, пощиплет листок и опять в колыбельку. Вот он смотрит: у него на теле волоски стали пробиваться; не прошло недели, как у червячка явилась теплая узорчатая шубка. Если бы вы видели, какие цветы рассыпала по ней природа! Она опоясала ее красными лентами, вдоль посадила желтые мохнатые пуговицы, к шейке пустила черные и зеленые жилки.

— Ге! ге! — сказал червячок сам себе, — неужели, в самом деле, мне целый век лежать в моей постельке да смотреть на занавеску? Неужели только и дела на этом свете? Мне уж, признаться, надоела постелька; тесно в ней, скучно. Если б на свет посмотреть, себя показать; может быть, я на что и другое гожуся. Ну что, в самом деле, неужели дождя бояться? Да мне, в моей шубке, и дождик не страшен. Дай попробую, пощеголяю в моем новом наряде.

Вот червячок снова поднял занавеску; смотрит: над ним цветочек только что распустился; каплет из него сахарный мед и манит к себе малютку. Не утерпел червячок, приподнялся, крепко обвился вокруг шейки цветка и жадно поцеловал своего нового друга. Смотрит: над ним другой цветок еще лучше того; он к нему; потом еще третий, еще лучше; все они шепчутся между собою; играют с малюткой и брызжут в него липчатым медом. Зарезвился наш червячок, забылся... Неожиданно повеял ветер и стряхнул червячка на землю.

Что-то будет с нашим щеголем, как найти ему родимое гнездышко? Однако ж он приподнял головку, осмотрелся.

— Ну, что ж, — думает, — беда еще не велика; оплошал так оплошал! В другой раз наука; незачем же мне опять в колыбельку. Нет, нечего колыбельки держаться; пора жить и своим умом.

Сказал и пополз куда глаза глядят. Вот дополз он до ветки, расщипал ее — жестко! Он дальше — еще, еще и дополз до листка; попробовал — вкусно.

— Нет, — сказал червячок, — теперь буду умнее, не стряхнет меня ветерок!

И закинул за листок паутинку.

Сглotal он листок, на другой потащился, а потом на третий. Весело червячку! Ветер ли пахнет, он прикорнет к паутинке; тучка ли набежит, его шубка дождя не боится; солнышко ли сильно печет, он под листок, да и смеется над солнцем, на-смешник!

Но были для червячка и горькие минуты. То, смотрит, птичка летит, глазки на него уставляет, а иногда подлетит, да и носиком толк его под бок. Но червячок не простак: он притворится, притаится, будто мертвый, а птичка и прочь от него. Было и горше этого: он потащился на новый листок, а смотрит, на нем сидит большой мохнатый паук с крючьями на ногах, шевелит кровавою пастью и растягивает сетку над червячком.

Иногда проходили мимо червячка злые люди и говорили между собою:

— Ах, проклятые червяки! Побросать бы их всех на землю да растоптать хорошенько!

Червячок, слыша такие речи, уходил в глубокую чащу и по целым дням не смел показываться.

А иногда и Лизанька с Мишей брали его в руки, чтоб полюбоваться его разноцветной шубкой; и хотя они были добрые дети, не хотели сделать зла червячку, но так неосторожно мяли его в руках, что потом бедный червячок, уже едва дыша, всползал на родимую ветку.

Вот между тем лето прошло. Уж много цветов поблекло, и на их месте шумели головки с сочными зернами; раньше солнце стало уходить за горку, и чаще прежнего повевал ветерок, и чаще накрапывал крупный дождик. Лизанька и Миша уже вспомнили о своих шубках и спорили, чья лучше — у них или у червячка. Червячок заметил, что листки уже стали не так душисты и сочны, солнце не так тепло, да и сам уж он сделался не так жив; все ему на свете казалось уже не так утешно, как прежде.

— Что ж, — думает он, — довольно я на свете пожил, поработал, испытал и горе и радость, пил и горькую и сладкую росу, пощеголял я шубкой, дружился с цветками; не век же ползать по-пустому на земле; пора быть чем-нибудь лучше.

Он спустился с листка, протянулся мимо блестящей капли росы, вспомнил, как ее струйки веселили его, малютку, и пополз далее в чащу зелени. Он стал искать тенистого, скромного места, удаленного от шума и света; нашел его, приютился и начал важную работу в своей жизни.

Когда Лизанька с Мишей отыскивали своего червячка, они очень удивились, что их старый знакомый ничего не ел и не пил и целые часы беспрестанно трудился над своим делом. В чем же была работа червячка? Эта работа была важная, любезные дети: червячок готовился умереть и строил себе могилку!

Долго трудился над ней; наконец, скинул с себя свою узорчатую шубку, примолвив: «Там в ней не будет нужды», и заснул сном спокойным. Не стало червячка, лишь на листке качались его безжизненный гробок и свернутая в комок шубка.

Но недолго спал червячок! Вдруг он чувствует — забилося в нем новое сердце, маленькие ножки пробились из-под брюшка и на спинке что-то зашевелилось; еще минута — и распалась его могилка. Червячок смотрит: он уже не червяк; ему не надо ползать по земле и цепляться за листки; развились у него большие, радужные крылья, он жив, свободен; он гордо поднимается на воздух.

Так бывает не с одним червячком, любезные дети. Нередко видите вы, что тот, с которым вы вместе резвились и играли на мягком лугу, завтра лежит бледный, бездыханный; над ним плачут родные, друзья, и он не может им улыбнуться; его кладут в сырую могилку, и вашего друга как не бывало! Но не верьте! Ваш друг не умер; раскрывается его могила — и он, невидимо для нас, в образе светлого ангела взлетает на небо.

Древние заметили это сходство между превращением бабочки и бессмертием человека и потому на своих картинах и статуях изображали человека с бабочкиными крыльями — для того, чтобы люди не забывали, что они, проживши свой век, испытав горе и радость, снова, как бабочка, возвратятся в новую жизнь, и что смерть есть только перемена одежды. Так, может быть, встретите вы изображение Платона, мудреца

древности, с бабочкиными крыльями; его изображали так, потому что он красноречивее других говорил о бессмертии души и о жизни после смерти.

Житель Афонской горы

На **Афонской горе** жил ученый, благочестивый муж. Смолоду он научился разным наукам, знал целебную силу трав и кореньев. Часто он ходил по хижинам бедных людей, лечил больных, утешал умирающих. И были ему от всех любовь и почет.

Однажды ту страну посетила страшная зараза — чума моровая. Люди заболели, и многие умирали; во всех хижинах были больные, и отовсюду посылали за добрым и ученым лекарем, чтобы пришел он утешить и помочь страждущим.

Без усталости ходил по больным добрый лекарь и раздавал лекарства. Иногда, когда мог захватить болезнь вовремя, он вылечивал; но чаще беспечные люди присылали за лекарем тогда, когда уже больной был при последнем издыхании, когда уж никакие лекарства помочь не могут, а неразумные люди упрекали и бранили доброго лекаря, как будто он был виноват в их беспечности.

Эти упреки оскорбляли доброго лекаря; изнемог он и от усталости, и пришло ему на мысль:

— Зачем тружусь я для людей, да еще неблагодарных? Зачем я жертвую собою для неразумных, которые не считают, кому я помог моим лекарством, а только жалуются, что я не вылечиваю полумертвых? Зачем я подвергаю себя опасности заразиться от больных, мне вовсе чужих? Останусь я спокойно на горе; чума сюда не заходит, а там внизу пусть заболевают неразумные; мне дела нет: их вина!

С этими мыслями он пошел на гору. Вдруг видит он, недалеко растет прекрасный цветок, и такой он красивый, и такой от него запах.

— Вот, — подумал лекарь, — и цветок меня тому же научает: растет он здесь на горе, красуется, и ни до кого ему нет дела; ему здесь хорошо, ветерок повеваает, солнышко греет, роса обливает, и растет он здесь никому другому, а только себе на радость. Так буду и я жить, думать только о себе, а о других не заботиться.

Между тем он наклонился над цветком, чтобы лучше разглядеть. Смотрит: внутри цветка — мертвая пчела. Собирая мед и цветочную пыль, она ослабела, прилипла к цветку и замерла. Лекарь посмотрел, подумал, и краска стыда выступила у него на лице.

— Боже! — сказал он, — прости моему унынию и неразумию! По Твоей воле набрел я на этот цветок, чтобы простое насекомое пристыдило меня. Для кого трудилась эта пчела, для кого собирала мед? Не для себя, а для других. Так же, как и мне, ей никто не скажет спасибо; так же, как и меня, ее всякий гнал, а между тем она все трудилась и на труд свою жизнь положила. Прости, Господи, моему унынию и неразумию. Умудри и меня, как Ты умудрил пчелу-медоносницу!

И снова начал лекарь собирать целебные травы, и снова до пота лица стал ходить по хижинам и помогать больным, утешать умирающих.

Сиротинка

У обгоревшей избы сидела, подгорюнясь, восьмилетняя сиротинка. Вчера Божий гнев посетил ее мачеху; ни с того ни с сего показался огонь из подполицы, пополз по бревнам, выглянул в волоковое окошко, охватил соломенную крышку — да и выжет

все без остатка; едва домашние успели выскочить да кое-что хлама повынести; собирались и миряне с соседних домов; смотрели и дивовались, что горит изба словно свечка перед иконою; иные смекали, что если б не затишь, то несдобровать бы и целой деревне. Ночью навалился снег и прикрыл пожарище; лишь торчали черные головни между сугробами да задымленная печка. Утром взошло солнце: тихо смотрело оно сквозь алый туман и на пожарище, и на сиротинку; золотые искорки мелькали в воздухе; дым из труб низко тянулся между кровлями; тяжелые возы скрипели по застылому снегу; колокольчик то звонко раздавался, то замолкал в далекой степи...

По дороге бежал мальчик лет двенадцати, спустив рукава у рубашонки и похлопывая кулаками от холода.

— Бог помощь, Настя! — сказал он, поравнявшись с пожарищем.

— Спасибо, Никитка! — отвечала Настя печально.

— А мачеха где?

— Пошла милостыньку собирать.

— А ты же что?

— А мне вот велела за хламом смотреть...

— А била мачеха больно?

— Нет, сегодня еще не била...

— А вчера била?

— Вчера била...

— А за что?

— Известно, за дело: не будь голодна...

— Эвось! Голод-та не свой брат... Вот батька твой не таков был; бывало, и меня пряником кормил... Эка! Посадила девку... Ты смотри, рук-то не озноби...

— Нет, пока еще солнышко греет... а вот как зайдет, так и не знаю, что будет; вчера хоть у пожарища согрелись...

— А ты знаешь... хоть к нам приходи отогреться... право, приходи... matka слова не скажет... Ге, ге! Гнедко-то уплелся, и не догнать его... Так, слышишь ты, приходи отогреться: у нас печка широкая...

Но Настя не пришла отогреться; куда она девалась, Бог знает. Говорили, что той порой у постоянного двора остановилась колымага, что вышла из нее какая-то боярыня, что увидела она Настю, что потом послали и за мачехой, и за сотским, что боярыня с ними долго толковала, а потом Настю усадили в колымагу. А куда Настю увезли и зачем увезли, Никитка ни от кого не мог добиться; лишь мачеха, всхлипывая, говорила, что у ней по Насте сердце болит, а миряне поднимали ее на смех и толковали, что она от барыни денежки неплаканные получила.

С тех пор прошло года четыре и больше. Одряхлела, обессилела Настина мачеха, с горя ли, с огневицы ли, что к ней припала; уж ходить ей стало невмочь. Однако собралась с силами, пошла с поклоном к пономарю, и написал он ей грамотку к Насте о том, что-де пора ей домой воротиться, ее, старую, приберечь, за нее по миру побродить, как умрет — похоронить да за упокой души поминать. Шли тогда парни в Питер, взялись ту грамотку передать и месяцев через шесть в самом деле передали ее Насте.

Воротилась сиротинка в деревню, но уж мачехи не застала: преставилась горемычная. Но Настя не захотела жить мирским подаванием; она приютилась у дальней тетки — старушки доброй и не одинокой. Начала Настя с того, что то сыну рубашку сошьет, то дочери, а не то выстирает, да и маленьких детей то обмоет, то вычешет, то тетке к празднику ширинку вышьет. В деревне долго смеялись над сиротинкой, что она одета не по-нашенски, а ей, бедной, и перемениться было нечем; посмеялись, посмеялись, а потом попривыкли; а когда узнали про ее рукодельство, то к ней же стали приходить: кому рубашку выкроить, кому повязку вынизать, кому плат обрубить. До-

шла весть о том и в соседние деревни, и в боярские дома, так что у Насти в работе и тонина завелась, и вышивала она для барышень оборки гладью и решеткою — всему свету на удивление. Вот — сперва гроши, потом гривны, ино место и рубли начали перепадать к сиротинке, и стала она тетке не в тягость, а в подмогу.

Пришло лето. В ясную погоду Настя выходила с работой на луг, что у погоста, и садилась под дубом; тут ни с того ни с сего начали к ней собираться ребяташки, сперва на нее поглазеть, а там и на то, что у нее за рукоделие? Настя никого прочь не отгоняла, а, напротив, еще сзывала; и с каждым днем все больше и больше вокруг нее ребяташек набиралось. Иногда, по старой памяти, приходил сюда и Никитка; уперев руки в боки и выпучив глаза, он смотрел с удивлением на Настино рукоделье, прислушивался, о чем она толковала, и старался понять, где она так наострилась.

В то время поступил в село новый священник.

Часто сиживал он у окна, с книгой в руке, а иногда поглядывал и на луг, где собирались ребяташки вокруг Насти. Детский говор так и рассыпался у открытого окошка.

— Эх! Матреша, — говорила Настя одной девочке, — рубашонка-то у тебя разодралась, что бы тебе зачинить?

— И рада бы зачинить, — отвечала Матреша, — да иголки нет.

— Вот тебе иголка! — сказала девочка постарше.

— А у тебя, Соня, откуда иголка взялась? — спросила Настя.

— Я у невестки взяла.

— Что ж, она тебе сама дала?

— Нет, куда! Она бы не дала, я сама взяла.

— Нехорошо, Соня!

— Ничего, у нее ведь много иголок, да и сама она на жнитво ушла, до вечера домой не придет, ни за что не узнает.

— Хорошо, — отвечала Настя, — невестка-то не узнает, да другой кто-нибудь узнает... Ну, кто мне скажет: кто такой все видит и знает, что мы делаем?

— Бог все видит и знает! — отвечало несколько тоненьких голосов.

— Так видишь ли, Соня, — продолжала Настя, — Бог-то и видел, что ты украла чужое добро. Поди же, поди поскорее, отнеси иголку туда, откуда взяла, а я пока с Матрешей своей поделюсь.

Соня покраснела, надулась, однако побежала в избу, через минуту опять возвратилась и сердито присела к кружку боком.

Между тем Настя всем дала работу: кому нитки мотать, кому веревку плести, кому чулок вязать.

— А не рассказать ли вам сказочку, — сказала Настя.

— Да, сказочку, сказочку! — пролепетали дети.

— Ну-ка, посмотрим, — сказал Никитка, — мастерица ль ты сказки рассказывать, даром что ты на все руки.

— А вот, послушай, — отвечала Настя, — да только, чур, не перерывать! Видишь ты, в одной деревне, недалеко отсюда, жил-был мальчик по имени Игнатий. Отец его, Прокофий, ходил в город в заработку да и Игнату почасту водил с собой. В городе Игнаша приглянулся купцу. «Оставь у меня малого-то, — говорил он Прокофью, — я его буду одевать, обувать и кормить, да еще выучу его, так что он, пожалуй, когда придет пора-время, и сам купцом станет». Прокофий подумал, подумал про свою бедность да бездомство и согласился. С тех пор жил Игнаша в городе, в большом доме и каждый день был обут, одет и накормлен. И что ему купец ни поручал, Игнаша все честно исполнял: и всякие товары, а ино место, и деньги носил, и никогда его купец ни в чем дурном не замечал. Раз принесли купцу целый мешок серебряных гривенничков да пятакков, сроду Игнаша не видывал столько денег, и долго он любовался, смотря, как

купец звенел по столу гривенничками и расставлял их в кучки, чтобы лучше счесть. Вот купец счел деньги, ссыпал их снова в мешок, мешок положил в сундук, запер и вышел вон со двора. Игнаша, глядь, ан на столе остался один пятак, да такой хорошенький, новенький! Хотел было Игнаша закричать купцу, что пятак забыл, да остановился, а остановившись, позадумался; а как позадумался, то на душе у него как будто кто и заговорил: ведь у купца целый мешок пятачков, что ему в одном? Да и не заметит он, а тебе пригодится. Прислушался Игнаша к лукавой своей речи да и положил пятак в карман. Купец и подлинно не заметил, а Игнаша купил пряник на пятак, а как съел пряник, еще захотелось. Улучив время, он у купца уже не пятак, а целый рубль украл. И рубля стало ненадолго. С тех пор напала на Игнашу тоска по деньгам; только и думал о том, как бы деньги стянуть. Сперва он крал по рублям, потом украл десять рублей, а потом все больше и больше: да однажды, говорят, столько денег у купца стянул, что и не счесть. Что ж вышло? Вот видели вы ономедни, вели по деревне колодников в цепях, в кандалах, и Игнаша с ними был — тоже колодник! И говорил он мне: «Ах, Настя, Настя! Пятачок меня погубил! С пятачка я начал, да вот до чего дошел!»

Дети слушали молча, разинув рты, как вдруг Соня залилась слезами, бросилась на шею к Насте и проговорила:

— Я отнесла иголку... я вперед не буду брать иголок у невестки.

— Хорошо сделала, — отвечала Настя, поцеловав ее. — Ну, полно, полно: что было, то прошло; вперед не делай.

Никитка повесил голову и крепко призадумался, потом подошел к Насте, отвел ее в сторону и сказал, запинаясь:

— А за что же, Настя, ты меня-то обижаешь? Ведь я только подумал, а красть не крал, право слово, не крал.

— А таки подумал? — отвечала удивленная Настя, улыбаясь.

— И не раз подумал, смотря, как отец деньги считает... Посмотрю я на тебя, Настя, никак ты колдунья!

— Колдунья не колдунья, а неспроста.

— Я и сам смекнул, что неспроста: как ты заговорила, так инда дрожь проняла и слеза пробилась... так что теперь и думать не хочу...

— Смотри ж и не думай, а то опять узнаю.

— Нет, право слово, вот тебе Господь Бог, я думать брошу...

Между тем дети притихли. Настя обернулась к ним, ударив в ладоши, затянула песню, и все дети, став один за другим, принялись подтягивать ей всем хором и, ударяя в ладоши, мерным шагом ходили вокруг Насти, смеясь и ободряя друг друга, а за ними и Никитка туда же.

Священник с удивлением смотрел на эту необыкновенную в наших селах картину. Наконец он позвал Настю к себе.

— Скажи мне, что ты делаешь с детьми? — спросил он.

— Да ничего, — отвечала Настя. — Учу их рукоделью, песни петь, молитвы читать.

— Доброе дело! — возразил священник. — И дети с тобой не скучают?

— Не знаю, может быть, им было бы веселее в деревне бегать, собак бить, да там, на конце, под елкою, слушать, как мужики песни орут и бранятся.

— Да отчего же они не убегут туда?

— Кажется, оттого, что им некогда: здесь им вокруг меня много работы: то одно, то другое. Когда замечу, что одно надоест, примусь их потешать чем другим: они как-то и позабудут и о собаках, и об елке, а время между тем идет да идет...

Священник задумался.

— Да кто же тебя-то этому научил? — спросил он наконец.

— Я и сама не знаю, батюшка, — отвечала Настя, — как я этому научилась. Жизнь моя уж такая была Божьим промыслением. Видите, я из здешней же деревни; не было у меня ни отца, ни матери, а жила я при мачехе, оттого и пошло мне прозвище: *сиротинка*. Раз ехала здесь одна барыня; мы в ту пору погорели; лицо ли ей мое приглянулось, так ли она над нами сжалилась, только дала она мачехе денег, а меня увезла в Питер, к себе в дом. На первых порах приводили меня к ней в хоромы, показывали меня гостям и лакомили, да велела она приходить к ней каждый день, чтобы обо мне не забыть. Только потом барыне стало как-то некогда: приду к ней, то она едет, то уехала со двора, то одевается, то гостей принимает. Тем временем жила я у ней во дворе между чужими: грустна и темна была моя жизнь. Бывало, не только меня никто не приголубит, а иногда целый день и не накормят; и уж доставалось мне, горемычной, от слуг в барском доме: только и видела, что толчки, только и слышала, что зовут меня дармоедкой; говорили, что барыня взяла меня, да сама не знает зачем. Приходилось мне невтерпеж. Однажды, проголодав целый день, поплелась я в барские хоромы и просила усиленно, чтобы меня к барыне допустили. Как наконец доложили ей обо мне, я сквозь двери услышала, что барыня прогневалась и вскрикнула: «Ах, как она мне надоела!.. Не до нее мне теперь... Скажи, что после...» Я вся так и обомлела. Не понимала я тогда, что со мной творится; знала только, что некуда мне головы приклонить. Часто хотелось до деревни добраться, чтобы по крайней мере с своими быть, хоть опять к мачехе, но как за это приняться — не знала. И была я все это время будто во сне и как собачонка лишь искала, где бы поесть да как бы на печке погреться да от побоев укрыться. Однажды ключница взяла меня за руку и говорит: «Ну, пойдём-ка, нашли тебе место, не век тебе баклуши бить, вот я тебя в школу отведу, в ученье, там тебя каждый день сечь будут, забудешь день-деньской есть просить да съестное красть».

Я испугалась, затряслась всем телом, а делать было нечего, поплелась я за ключницей, думая, что тут и смерть моя будет. И теперь об этой минуте без ужаса вспомнить не могу. Пришли мы в какой-то дом, был он недалеко, вхожу — вижу: пропасть детей, моих же лет, сидят все рядышком на скамейках; и жутко и страшно мне стало. Но вот подошла ко мне какая-то женщина: ключница поговорила с ней о чем-то, чего я не поняла, поговорила и ушла. Оставшись одна, я еще больше испугалась, но незнакомая женщина, которая, как я узнала после, называлась смотрительницею, приласкала меня, вычесала, вымыла, дала мне сбитню и потом посадила на скамейку между другими детьми. Дети пели песни, играли, бегали, ходили мерным шагом, но все это мне казалось страшно, все я дичилась, все сидела поодаль и только того и ждала, скоро ли меня сечь станут: одно это я и понимала; но, однако ж, меня не высекли, а еще накормили. К вечеру смотрительница опять меня приласкала, отпустила домой и велела на другой день приходить пораньше. До дома, как я вам сказывала, было недалеко: всего двора через два. Хоть меня в школе и не секли, но я очень обрадовалась, что отпустили домой, прибежала я опрометью, нашла свой уголок, свернулась в клубок, крепко заснула и проспала бы до обеда, если бы повариха не выдернула из-под меня войлока и не толкнула ногою. «Убирайся ты отсюда в школу, — сказала она, — и без тебя тут тесно». Не знаю, зачем поварихе хотелось меня выгнать, а сдаётся мне, что у ней в это время было на уме что-то недоброе и что я ей в чем-то мешала.

С испуга и не зная, куда деваться, я побежала в школу; помнила я, однако ж, что там вчера меня напоили сбитнем и накормили. Говорю вам, батюшка, что была я точно собачонка: только одну еду да побои понимала. В школе меня опять приласкали, вычесали, вымыли, накормили: мало-помалу я стала привыкать и, смотря на других детей, делать то же, что они. Смотрительница показывала нам картинки, рассказывала сказки, учила петь, показывала нам деревянные дощечки и заставляла угадывать, какая на какой дощечке буква. Сама не знаю, как промеж игры, пения, ходьбы я выучилась и грамоте, и выучилась кое-как писать; иногда приходил к нам и священник и

поучал нас от Святого Писания. В это время я будто начала просыпаться; стала понимать, что значит хорошо или худо делать, а всего больше научилась молиться. Скоро мне сделалось в школе так уютно и весело, что я и не замечала, как время проходило. Когда приближался вечер, я уже нехотя возвращалась домой, где опять видела только толчки да слышала злые речи, но уже меньше прежнего, потому что я старалась уходить из дома как можно раньше и приходить как можно позже, так что днем меня никто не видал, а ночью все спали.

Так прошло два года, я не только привыкла к приюту (так называлась эта школа), но еще скоро сделалась там из первых. Часто приезжал к нам доктор, дамы, лаская меня, хвалили, повязывали мне на голову красный шнурок, часто ставили меня на подмости и заставляли учить новоприходящих.

Наконец исполнилось мне десять лет, и раз смотрительница сказала мне, что ей очень меня жаль, но что мне нельзя больше оставаться в приюте, что я уже из лет вышла; что, однако же, за то, что я хорошо себя вела и хорошо училась, меня возьмут в другую школу, где я выучусь тонкому рукоделью. Я узнала, что приют тот содержат прямо добрые люди, не из корысти, не из чванства, а так — за любовь.

Так и случилось. Перешла я на житье в Частную школу (так называются такие школы в Петербурге), и сказали мне, что тою школою управляет Царевна. Это снова меня испугало, но девушки часто меж собою говорили, что Царевна — предобрая, и это меня успокоило.

Я уж была не так глупа, как прежде, не дичилась, а старалась прилежно учиться, работать и часто молилась Богу, чтобы Он помогал мне. Бог услышал мою молитву, и скоро моя работа стала из лучших. Выучилась я также чисто писать, читала я громко и явственно и всегда была исправна.

Часто в школу приезжала к нам и Царевна; она часто заставляла то одну, то другую из девушек читать или писать и пересматривала их работы, хвалила и хулила. Но меня Царевна как-то не замечала, и боялась я, и хотелось мне, чтобы она меня вызвала. Вот однажды очередь дошла и до меня, так у меня коленки и подогнулись, но я скрепилась, сотворила в сердце молитву и вышла. Царевна милостиво спрашивала меня о разных вещах по нашему учению. Кажется, мои ответы ей понравились; она заставила меня читать, писать, считать, спросила мою работу и всем так была довольна, что взглянула на меня, ангельски улыбнулась и сказала: «Хорошо, что ты прилежна — и тебе хорошо, и другим пригодится». Я и плакала, и смеялась, то страшно, то как будто стыдно мне было, что дождалась я такого почета, и хотелось мне, по-деревенски, прикрыться рукою, но рука не поднималась; то становилось мне отрадно и тепло на душе, и вспоминала я про старое время; как будто я снова на коленях у родимой матери, словно она поет надо мною тихую песню и приголубливает. Памятна была мне эта минута, никогда ее не забуду. Как теперь гляжу в светлые, веселые очи прекрасной Царевны, как теперь слышу ее звонкие, серебристые речи...

Сначала я не совсем понимала их, хотя они часто приходили мне в голову, и лишь теперь я их вполне выразумела...

Между тем мачеха пред концом захотела со мною свидеться, я вышла из школы, откуда мне выдали денег в награждение, и возвратилась сюда.

Признаюсь вам, батюшка, что деревня показалась мне совсем иною, чем прежде. Не то чтобы я возгордилась, но не могла я не спросить себя: отчего я умею и читать и писать и знаю всякое рукоделье, и опрятно я одета, и могу себе хлеба кусок добыть, а другие, такие же как я, из той же деревни, живут себе так, а маленькие дети даже не знают, какой рукой перекреститься, правой или левой. И пришло мне на память прежнее мое житье в той же деревне, и как я так же не знала, какой рукой перекреститься и отчего я стала совсем иная.

И тогда вспомнила я слова доброй, прекрасной Царевны, и стали они мне понятны. Показалось мне, что снова смотрят на меня ее светлые, веселые очи и будто велят они мне приберечь ее добро, чтобы оно не пропало.

Тогда стала я собирать вокруг себя ребятишек и стала их забавлять и учить, как меня забавляли и учили. Бог благословил мои силы: ребятишки ко мне привыкли, а я отвожу их от худого, и часто, как задумаюсь в моем кружке, чудятся мне веселые очи Царевны и как будто поощряют меня.

— Хорошее дело ты затеяла, — отвечал отец Андрей. — Но, добро, теперь лето, на поле простор; ну, а зимой-то как тебе быть?

— Да уж и сама не знаю, — отвечала Настя. — У тетки в доме тесно, семья большая.

— Так и быть уж, я тебе помогу, — отвечал отец Андрей. — Есть у меня светелка особая: как холода настанут, а ино место и в дождик, собирай свою мелюзгу к нам в светелку. В ином чем тебе жена подсобит, да и я когда поучу, а теперь вот пока тебе книжка, да еще с картинками. Поди толкуй ее с своими ребятишками, а я послушаю, чтобы ты подчас сама не завиралась.

— Спасибо, батюшка, — отвечала Настя, — такой радости не чаяла, и ты сам меня будешь учить?

— И я сам буду тебя учить.

— И матушка будет мне подсоблять?

— И матушка будет тебе подсоблять.

— И светелку дашь?

— И светелку дам.

Настя захопала в ладоши, все ребятишки собрались вокруг нее, они громким хором запели какую-то детскую песню, которую Настя затягивала лишь в самых торжественных случаях.

Так и пошло дело на лад. Ребятишки по-прежнему собирались вокруг Насти. Когда она отлучалась, жена священника занимала ее место, а иногда и отец Андрей, когда был свободен от духовных треб, приходил, садился на скамейку под дубом и учил и учеников, и учительницу.

Когда крестьяне узнали об этом, то уже стали сами посылать детей к Насте, а иные и сами приводили, да, приводя, останавливались и прислушивались и даже потихоньку плакали от умиления. Ино место и мужик забывал об елке в праздник, засматриваясь на потеху детей, и часто мать стыдила взрослого сына, показывая ему на маленьких. Скоро Настя, при пособии матушки, достигла до того, что не только лохмотья на ребятишках были зашиты, но и сами уже матери, посмотрев раз-два на детей чистых, опрятных, уже стыдились водить их замарашками, да и сами, глядя на детей, сделались попорядочнее.

Зимой в светелке отца Андрея мало-помалу завелись и доски с песком, на которых дети чертили буквы, а потом, гляди, и скамейки. Почетный смотритель училищ, проезжая раз по деревне и заглянув в светелку отца Андрея, подарил большую черную доску с мелом, с дюжину грифельных досок да столько же разных детских книжек, вот какая завелась роскошь! По воскресеньям дети парами ходили в церковь, не кричали и не зевали по сторонам, как бывало, а тихо становились на клирос и подтягивали дьячку, а миряне, тронутые детскими чистыми голосами, молились усерднее прежнего.

Настя радовалась и благодарила Бога за то, что Он благословил ее дело, и вспомнила слова Царевны.

Между тем часто Никита заглядывался на Настю, и даже старики толковали, что не худо бы ему было такую добрую хозяйку себе нажить, но еще откладывали до поры до времени. И до Насти доходили о том слухи, только что-то они ее не радовали; ни

с того ни с сего тоска напала на сиротинку, все ей что-то становилось грустно, и когда отец Андрей спрашивал, что с ней такое, Настя отвечала:

— И сама не знаю, откуда эта грусть и зачем она, а только грустно мне, очень грустно: как будто чувствует сердце что-то недоброе, ничто меня не веселит. По-прежнему во сне и наяву чудятся мне очи моей прекрасной Царевны, но мне все кажется, что ее светлые очи тускнеют. Я смотрю на них, и мне становится жалко, так жалко, что проснусь, и слезы льются у меня из глаз, и на весь день остается на сердце такая грусть, что и сказать нельзя.

Отец Андрей утешал Настю, сколько мог, но понапрасну: она по-прежнему исправляла дело свое, собирала детей, толковала с ними, пела с ними вместе и вдруг останавливалась, и слезы лились из ее глаз сами собою, и она неволью начинала потихоньку молиться.

Между тем дни шли за днями, а Настя с каждым днем все больше грустила и тосковала, с каждым днем все больше худела и разнемогалась.

— Тускнут, тускнут веселые очи моей прекрасной Царевны! — говорила она. — Чувствует мое сердце недоброе: молитесь, дети, за мою Царевну.

Дети не понимали ее, но становились на колени и тихо молились о доброй Царевне.

— Нет силы больше, — сказала однажды отцу Андрею. — Во что бы то ни стало, а пойду в Питер, наведуясь, что случилось с моею Царевною...

Но уже было поздно: силы оставили бедную сиротинку: кашель разрывал ее грудь, тело ее высохло и сделалось почти прозрачным, виски и щеки ввалились, и пальцы ее дрожали. Уже Настя не могла сходить с места, едва могла говорить и только творила внутреннюю молитву.

Однажды, когда домашние, собравшись вокруг Насти, старались как могли облегчить ее страдания и бедный Никитка сам не свой стоял у изголовья умирающей, вдруг Настя вскрикнула:

— Ничего мне теперь не надобно, потухли очи моей Царевны; нет ее больше на свете, нет моей родимой... Позовите отца Андрея...

То были последние слова сиротинки... Священник пришел, благословил, поставил ее на путь в ту обитель, где нет ни печали, ни воздыхания, но — жизнь бесконечная...

И не стало на земле сиротинки...

В то время в царских чертогах плакали над другою потерей.

Отрывки из журнала Маши

5 января 18.. года.

Сегодня мне исполнилось десять лет... Маменька хочет, чтобы я с сего же дня начала писать то, что она называет журналом, то есть она хочет, чтоб я записывала каждый день все, что со мною случится... Признаюсь, я этому очень рада. Это значит... что я уже большая девушка!.. Сверх того, как весело будет через несколько времени прочитать свой журнал, вспомнить все игры, всех приятельниц, всех знакомых... Однако ж, должно признаться, это и довольно трудно. До сих пор я брала перо в руки только затем, чтоб или списать пропись, или написать маленькое письмецо к бабушке... Да, это совсем нелегко! Однако ж увидим... Ну, что ж я делала сегодня? Проснувшись, я нашла на столике, подле кровати, маменькины подарки. Маменька подарила мне прекрасную книжку в сафьяновом переплете для моего журнала; папенька подарил мне очень хорошенькую чернильницу с колокольчиком. Как я этому рада! Я все это

положу на мой столик — и мой столик будет точь-в-точь как папенькин... Как я этому рада!

Я обедала... Маменька послала меня почивать.

9 января.

Сегодня я показывала маменьке мой вчерашний журнал. Маменька была им довольна. «Зачем, — спросила она, — я не вижу в твоём журнале ни слова о том, что ты делала утром и после обеда?» Я не знала, что отвечать на это, да и мудро было бы отвечать... потому что я вчера вела себя очень дурно: и журнал, который мне маменька велела вести, и чернильница, которую папенька мне подарил, все это как-то перемешало у меня мысли в голове, и когда поутру пришел ко мне братец Вася звать меня с собою играть, я показала ему мою сафьянную книжку и отвечала, что я уже не могу с ним больше играть, что я уже большая. Братец рассердился, расплакался, схватил мою книжку и бросил ее под стол. Это меня также рассердило; я поворотила его к дверям и толкнула, несмотря на нянюшку. Вася споткнулся, упал и ушибся, и когда няня стала мне выговаривать, то я, вместо того чтоб бежать к Васе и утешать его, сказала в сердцах, что он стоит того. В это время пришла маменька, но я так же и ее слов, как нянюшкиных, не послушалась, за что маменька приказала мне не выходить из моей комнаты... Только уже к вечеру я помирилась с Васей. — Всего этого у меня духу не достало записать вчера в журнал, и я сегодня спрашивала у маменьки: неужели я в нем должна записывать даже все то, что я сделаю дурного в продолжение дня? «Без сомнения, — отвечала маменька, — без того какая же польза будет в твоём журнале? Он пишется для того, чтобы в нем находилось все, что человек делает в продолжение дня, чтобы потом, прочитывая записанное, он не забывал о своих дурных поступках и старался бы исправиться. Это называется, — прибавила маменька, — отдавать себе отчет в своей жизни».

О, признаюсь, что это очень трудно!.. До сих пор, бывало, покапризничаешь, потом попросишь у маменьки прощения — и все забыто; на другой день и не думаешь... А теперь, что ни сделаешь дурного — ничего не забудется: маменька простит, а мой журнал все говорить будет и завтра, и послезавтра, и чрез неделю. А как бывает стыдно, когда и на другой день вспомнишь о своей вчерашней шалости! Вот как сегодня: мне так было стыдно описывать вчерашнее мое упрямство.

Что же делать, чтоб не было стыдно, чтобы журнал не рассказывал, как я шалила, как я капризничала?.. Вижу ясно одно средство... не шалить, не капризничать и слушаться маменьки... Однако же это очень нелегко.

Сегодня все учителя были мною очень довольны. После обеда я весь вечер играла с Васей в такую игру, которую я совсем не люблю: в солдаты. Маменька меня за то очень похвалила, а Вася бросился ко мне на шею и расцеловал меня. От этого мне стало так весело...

10 января.

Сегодня у нас была гостья — прекрасная дама! На ней была прелестная шляпка с перьями, я непременно такую же сделаю для моей куклы. После обеда я пришла в гостиную. Папенька и маменька разговаривали с дамой. Многого из их слов я не понимала; одно только я заметила: эта дама очень удивлялась, отчего у нас в доме так мало слуг, а между тем все в таком порядке. «Вы, верно, — сказала она маменьке, — очень счастливы в выборе людей». — Нет, — отвечала маменька, — но я сама занимаюсь хозяйством. — «Как это можно? — возразила дама, — я так этого никак не могу сделать». — Кто же у вас смотрит за домом? — спросил папенька. «Мой муж», — отвечала дама. — Ну, теперь не удивительно, — возразил папенька, — что у вас слуг вдвое больше нашего, а между тем все не делается в доме, как бы надобно. Муж ваш

занят службою, целое утро он не бывает дома, возвращается и работает целый вечер, когда же ему заниматься хозяйством? И потому у вас им не занимается никто. — «Это почти правда, — отвечала дама, — но что же делать? Как этому помочь?» — Смею думать, — сказал папенька, — что заниматься хозяйством — дело женщины; ее дело входить во все подробности, сводить счета, надсматривать за порядком. — «Для меня это невозможно, — отвечала дама, — я не так была воспитана: я до самого моего замужества не имела понятия о том, что называется хозяйством, только и умела, что играть в куклы, одевать себя и танцевать. Теперь я бы и хотела подумать о хозяйстве, да не знаю, как приняться. Какое я ни дам приказание — выйдет вздор, и я в отчаянии уже решилась предоставить все мужу или, лучше сказать, никому». Тут папенька долго ей говорил, что ей должно делать, чтобы выучиться тому, чему ее в детстве не учили, но я многого не могла понять из его слов. Они еще разговаривали, когда к ней прискакал человек из дому и сказал, что ее маленький дитя после кушанья очень занемог. Дама вскрикнула, испугалась и сама так вдруг сделалась больна, что маменька не решилась отпустить ее одну, а поехала к ней с нею вместе.

11 января.

Маменька вчера возвратилась очень поздно и рассказывала, что дитя занемог от какой-то нелуженой кастрюльки, доктора думают, что он не доживет до утра. Маменька никак не могла удержаться от слез, рассказывая, как страдал бедный мальчик, — и я заплакала. Я никак не могла понять, каким образом дитя могло занемочь от нелуженой кастрюльки; но когда папенька сказал: «Вот что может произойти, когда мать семейства сама не занимается хозяйством!» — Как? — спросила я, — неужели дитя умирает от того, что его маменька не занимается хозяйством? — «Да, моя милая, — отвечал папенька, — если б его маменьку с детских лет приучали заниматься домом больше, нежели танцами, тогда бы с нею не было такого несчастья». — Ах, Боже мой! — вскричала я, бросившись к маменьке на шею, — научите меня хозяйству! — «Изволь, моя милая, — отвечала маменька, — но только этого вдруг сделать нельзя; надобно, чтоб ты привыкла помаленьку, да достанет ли у тебя и терпения?» — О, уверяю вас, что достанет! — «Хорошо, — сказала маменька, — мы сделаем опыт. Ты видела в комодке, что в твоей комнате, свое белье?» — Видела, маменька. — «Заметила ли ты, что когда прачка Авдотья приносит белье к твоей нянюшке, то нянюшка принимает его по счету?» — Заметила, маменька. — «Теперь, вместо нянюшки, ты будешь принимать белье от Авдотьи». — Но как же, маменька, я упомяну, сколько какого белья? Я заметила, что и нянюшка часто ошибается и спорит с Авдотьей. — «Я не удивлюсь этому, — сказала маменька, — потому что твоя нянюшка не знает грамоте, для тебя же большою помощью будет то, что ты умеешь читать и писать. Ты запиши на бумажке все свое белье и отметь, сколько, какого. Когда Авдотья будет тебе приносить его, то ты, смотря на бумажку, поверяй, все ли то принесла Авдотья, что ты ей выдала». — Ах, маменька, это очень легко! Как хорошо, что я умею читать и писать! — «Вот видишь ли, моя милая, — заметила маменька, — помнишь, как ты скучала, когда заставляли тебя читать книжку или списывать прописи, ты мне тогда не хотела верить, как это необходимо». — О, маменька! — вскричала я, — теперь во всем буду вам верить, но скажите мне, разве и белье принадлежит к хозяйству? — «Да, моя милая, это составляет часть хозяйства, прочее ты узнаешь со временем, теперь заметь, один раз навсегда, что без порядка не может быть и хозяйства, а порядок должен быть и в белье, и в содержании прислуги, и в покупках, и в собственном своем платье, словом, во всем, и ежели не наблюдать порядка в одной какой-либо вещи, то слуги не будут его наблюдать и в другой, и оттого все в доме пойдет наыворот, от этого-то и происходят такие несчастья, какое случилось с дитятею этой дамы».

12 января.

Сегодня пришли нам сказать, что бедный дитя умер; какое несчастье! Бедная мать, говорят, в отчаянии. Вижу, что надобно слушаться маменькиных слов. — Сегодня я приняла белье от нянюшки по реестру, составила особую записку черному белью и отдала Авдотье: она должна его возвратить чрез четыре дня. Я спрашиваю у маменьки, как узнать, сколько надобно мыла для того, чтобы вымыть белье. Маменька похвалила меня за этот вопрос и сказала, что на каждый пуд белья надобно фунт мыла. Я велела взвесить белье, выданное мною Авдотье, и его вышло полпуда; из этого я заключила, что на него пойдет мыла полфунта.

Сегодня к папеньке принесли большие свертки, он развернул их на столе, и я увидела какие-то престранные картинки. Я никак не могла понять, что это такое. Папенька сказал мне, что это географические карты. — На что они служат? — спросила я его. «Они изображают землю, на которой мы живем», — сказал он. — Землю, на которой мы живем? Стало быть, здесь можно найти и Петербург? — «Разумеется, моя милая». — Где же он? — спросила я папеньку, — я его не вижу, здесь нет ни домов, ни улиц, ни Летнего сада. — «Точно так, моя милая, здесь нельзя видеть ни домов, ни улиц, ни Летнего сада, но это вот отчего: слушай и пойми меня хорошенько». Тут он взял лист бумаги и сказал: «Смотри, я нарисую эту комнату, в которой мы сидим, она четверугольная, и я рисую четверугольник: вот здесь окошко, здесь другое, здесь третье, вот одна дверь, вот другая, вот диван, фортепиано, стул, вот шкапчик с книгами». — Вижу, — сказала я, — я бы тотчас узнала, что это наша комната. — «Теперь вообрази себе, что я бы хотел нарисовать план — такого рода рисунок называется планом, — план дома, в котором мы живем; но на этом же листе бумаги я его поместить не могу, и для этого я, уменьшив его несколько в размере, перенесу мою комнату на другой лист. Вот посмотри: вот наша гостиная, вот кабинет, вот спальня, твоя детская. Узнала ли бы ты по этому плану, что это наш дом?» — О, без сомнения! — «Теперь вообрази себе, что я бы хотел на таком же листе нарисовать план нашей улицы. Посмотри, как от этого должен уменьшиться план нашего дома. Теперь еще вообрази себе, что я на таком же листе хотел бы нарисовать план целого Петербурга. Тут наш дом должен уже обратиться почти в точку для того, чтоб можно было на этом листе уместить все улицы Петербурга; но кроме Петербурга есть и другие города, из которых иные далеко, очень далеко. Собрание всех этих городов называется нашим отечеством, Россиею. Вообрази же себе, что я хотел бы на этом же листе нарисовать план всей России, точно так же, как я рисовал план Петербурга, план нашей улицы, нашего дома, нашей гостиной; но уже в плане России самый Петербург обратится в точку. Вот эта карта, которая теперь лежит перед нами, есть карта или план России. Вот на ней Петербург, вот и Нева; но нельзя в нем видеть ни Летнего сада, ни нашей улицы, ни нашего дома, потому что сам Петербург замечен одною небольшою точкою или, лучше сказать, этим домиком с крестиком наверху, который ты здесь видишь». — Ах, как это любопытно! — сказала я папеньке. — А есть ли еще что-нибудь, кроме России? — «Как же, моя милая, есть и другие земли, и для них есть особые карты». — Ах, папенька, как бы я желала узнать все эти земли! — «Ты это узнаешь, моя милая, но для этого надобно учиться истории». — А что такое история? — «На этот вопрос отвечать долго; напomini мне о нем после».

17 января.

Сегодня я принимала белье и все получила исправно. Нянюшка удивлялась этому и, кажется, немножко сердилась, потому что дело у меня обошлось без всяких споров и в самое короткое время. Бывало, нянюшка, обыкновенно, при всяком таком случае, много и долго спорила, да и немудрено: она и сама забывала, и Авдотья полагалась на то, что нянюшка забудет; но теперь, когда все у меня было записано, то Авдо-

тъя, вероятно, была осторожна. Вижу теперь на опыте, какую правду мне говорила маменька, что ученье полезно во всем, даже в самых малейших случаях. Маменька была так довольна моею исправностию, что обещала послезавтра вести меня на детский бал к графине Воротынской. Там, говорят, будет музыка, танцы и пропасть народу. О, как будет весело!

Вспомня обещание папеньки, я пошла к нему с своим журналом и сказала: «Вы обещали рассказать мне, что такое история». — История, моя милая, — отвечал он, — есть то, что ты теперь в руках держишь. — «Это мой журнал». — Да, моя милая, я повторяю, что ты держишь в руках свою историю. — «Как это, папенька?» — Описание происшествий, чьих бы то ни было, называется историей, и потому-то я сказал тебе, что ты, описывая все, что с тобою случается, пишешь свою историю. Теперь представь себе, что я и твоя маменька, мы также пишем журналы, и Вася, когда подрастет, будет то же делать. Если бы соединить все эти журналы, то из них бы составила история нашего семейства. — «Понимаю, папенька». — Теперь вообрази себе, что мой папенька, а твой дедушка также писал свою историю, таким же образом и его папенька, а мой дедушка, которого вот ты видишь портрет, писал свою историю. — Я посмотрела на портрет и сказала: «Ах, папенька, как бы я рада была, если бы ваш дедушка в самом деле писал свою историю». — Для чего это, моя милая? — «Для того, что я могла бы тогда узнать, почему он не так одет, как вы». — Этот вопрос очень кстати, моя милая; в то время, когда жил дедушка, все одевались так, как ты его видишь, и разница была не только в платье, но тогда иначе говорили, иначе думали. Точно то же я тебе должен сказать и о дедушке моего дедушки, вот знаешь старичка с бороною, которого портрет висит в столовой. Тогда еще более разницы с нами было как в платье, так и во всем; он не только носил бороду, ходил в шитом длинном кафтане, подпоясанном кушаком, но в его доме не было ни кресел, ни дивана, ни фортепиано. Вместо того у него стояли кругом комнаты дубовые скамейки; он ездил не в карете, а всегда почти верхом; жена его ходила под фатою, никогда не показывалась мужчинам; она не ездила ни в театр, потому что его не было, ни на балы, потому что это почиталось неприличным; они оба не знали грамоты. Видишь ли, какая во всем разница с нами. — «Ах, папенька, как это любопытно! И все это можно узнать из истории?» — Да, моя милая, но заметь, что как жил дедушка моего дедушки, так и все, которые жили в одно с ним время. У них также были отцы и дедушки, у этих также, еще, еще... История всех этих людей, или, как говорят, народа, с описанием всего того, чем они были на нас похожи или не похожи, составляет то, что мы называем историею России, нашего отечества. Такие же есть истории и о других землях и народах. — «Каких же это народов, папенька?» — О, их было много! И если бы я тебе их назвал всех, то это не дало бы тебе никакого о них понятия; ты их узнаешь постепенно. На этот раз замечу тебе только то, что они все между собою столь же мало похожи, сколько мы на прадедушку. Все они носили разные имена, из которых теперь многие уже потерялись. Так, ты встретишь в истории такие народы, которые, вместо нашего фрака, носили на себе одни покрывала. Вот, например, бюст, который представляет человека без шляпы на голове, с одним перекинутым чрез плечо плащом, — это был человек, которого называли Сократом, он жил в земле, которую называют Грециею, почти за две тысячи лет до нас; я тебе со временем дам прочесть его историю. Теперь, чтоб получить какое-нибудь понятие об истории вообще, а с тем вместе и обо всем земном шаре.

19 января.

Сегодня маменька подарила мне маленький кухонный прибор. Это для того, сказала она, чтоб я знала все, что нужно для кухни; как которая посуда называется и для чего ее употребляют, ибо хозяйке это необходимо знать. Я вне себя от восхищения!.. Я перебрала весь мой кухонный прибор, несколько раз переспросила у нянюшки, как

которая вещь называется... Это меня так заняло, что мне даже досадно было, когда нянюшка пришла мне сказать, что пора одеваться и ехать на бал...

20 января.

Я вчера так устала, что не могла приняться за перо, и потому решила описать сегодня все, что со мною вчера случилось. Не знаю, с чего начать: так много я видела нового, прекрасного... Когда мы приехали к графине Воротынской, музыка уже играла. Пропасть дам, кавалеров, все так нарядны: в комнатах так светло, все блестит!.. Дождаясь окончания танца, я села подле маленькой барышни, которая сидела в уголку, была одета очень просто, в белом кисейном платье; на ней были поношенные перчатки. Она обошлась со мною очень ласково... Признаюсь, мне было немножко досадно, потому что танцы только начались и мне долго надобно было просидеть на одном месте; но моя подруга Таня, так ее называли, была так мила, что я скоро позабыла об этой неприятности. Она мне рассказывала, как вырезывать картинки и наклеивать на дерево или на стекло, выклеивать ими внутри хрустальных чаш; как переводить живые цветы на бумагу, как срисовывать картинки; я не знаю, чего эта девочка не знает!.. Одним словом, время протекло с нею для меня незаметно, если бы не она, то я бы целые полчаса умирала со скуки. — Между тем танец кончился, и все мои маленькие приятельницы бросились обнимать меня, но я заметила, что многие из них не говорили ни слова с Таней и очень невежливо оборачивались к ней спиной. Это мне было очень неприятно, и я, со своей стороны, стала беспрестанно обращаться к Тане и с нею заговаривать. Вдруг маленькая хозяйка дома, графиня Мими, схватила меня за руку и, сказав, что она хочет мне показать другие комнаты, увела меня от Тани. Когда мы отошли на несколько шагов, графиня Мими сказала мне: «Что вы все говорите с этою девочкою? Пожалуйста, не дружите с нею!» — Да почему же? — спросила я, — она очень мила. — «Ах, как вам не стыдно! — сказала графиня Мими. — Мы с нею не говорим; я не знаю, зачем маменька позволила ей приехать к нам. Она дочь нашего учителя. Посмотрите, какие на ней черные перчатки, как башмаки дурно сидят; говорят, что она у своего папеньки ходит на кухню!» Очень мне жаль было бедной Тани и хотелось мне за нее заступиться, но все мои маленькие приятельницы так захохотали, повторяя: «Ходит на кухню, кухарка, кухарка», что я не имела духу вымолвить слова. Тут начались танцы: у меня сердце сжималось, слушая, как мои приятельницы смеялись над Таней и говорили: посмотрите, как танцует кухарка! Это дошло до того, что одна из моих маленьких приятельниц подошла к Тане и, насмешливо посмотрев на нее, сказала: «Ах, как от вас пахнет кухней!» — Я удивляюсь этому, — очень просто отвечала Таня, — потому что платье, в котором я хожу на кухню, я оставила дома, а это у меня другое. — «Так вы ходите на кухню?» — закричали все с хохотом. — Да, — отвечала Таня, — а вы разве не ходите? Мой папенька говорит, что всякой девочке необходимо нужно приучаться к хозяйству. — «Да ведь мы и вы — совсем другое», — сказала одна из барышень. — Какая же между нами разница? — спросила Таня. «О, пребогшая, — отвечала гордая барышня, — у вас отец — учитель, а у меня — генерал; вот, посмотрите: в больших эполетах, со звездою, ваш отец нанимается, а мой нанимает; понимаете ли вы это?» И с этими словами она оборотилась к Тане спиной. Таня чуть не заплакала, но, несмотря на то, все ее оставили одну и — я вместе со всеми. Я невольно за себя краснела. Я видела, что все презирали Таню за то, чего именно от меня требовала маменька и что я сама любила, но не имела силы подвергнуть себя общим насмешкам. И Таня стояла одна, оставленная всеми; никто не подходил к ней, никто не говорил с нею. Ах, я очень была виновата! Она одна приласкала меня, когда никто не обращал на меня внимания, когда мне было скучно!.. Но кажется, что маменька графини Мими заметила ее несправедливое презрение к Тане; я это думаю вот почему. Графиня, поговоря с другими маменьками, позвала нескольких из нас в другую

комнату. «Как это хорошо, — сказала она, — что вы теперь все вместе, все вы такие милые, прекрасные, — я бы хотела иметь ваши портреты; это очень легко и скоро можно сделать: каждая из вас сделает по тени силуэт другой, и, таким образом, мы в одну минуту составим целую коллекцию портретов, и, в воспоминание нынешнего вечера, я повешу их в этой комнате». При этом предложении все призадумались, принялись было за карандаши, за бумагу, но, к несчастью, у всех выходили какие-то, каракульки, и все с досадою бросили и карандаши и бумагу. Одна Таня тотчас обвела по тени силуэт графини Мими, взяла ножницы, обрезала его кругом по карандашу, потом еще раз — и силуэт сделался гораздо меньше, потом еще — и силуэт Мими сделался такой маленький, какой носится в медальонах, и так похож, что все вскрикнули от удивления. Очень мне хотелось, чтобы Таня сделала и мой силуэт, но после моего холодного с нею обращения я не смела и подумать просить ее о том; каково же было мое удивление, когда Таня сама вызвалась сделать мой силуэт. Я согласилась: она сделала его чрезвычайно похоже и отдала графине. Потом, взглянув на меня, эта добрая девочка, видно, прочла в моих глазах, что мне очень бы хотелось оставить этот силуэт у себя; она тотчас по первому силуэту сделала другой, еще похожее первого, провела его несколько раз над свечою, чтоб он закоптился, и подарила его мне. Тут я не могла более удержаться, бросилась к ней на шею и, почти со слезами, просила у нее прощения. Милая Таня сама была растрогана. Графиня Мими не знала, куда от стыда деваться; но этим не кончилось. Кажется, этот вечер нарочно был приготовлен для торжества Тани. В той комнате, в которой для нас приготовлен был чай, стояло фортепиано. Графиня Воротынская предложила многим из нас, и в том числе своей дочери, сыграть на фортепиано. Графиня Мими сыграла, и очень плохо, начало [маленькой сонаты Черни](#) и принуждена была остановиться от беспрестанных ошибок. Иные умели сыграть только гамму и несколько аккордов. Когда дошла очередь до Тани, то она сыграла [Фильдово рондо](#), но с такою легкостью, с таким искусством, что все были приведены в удивление. Стали просить меня: я знала другое Фильдово рондо и могла бы сыграть его не хуже Тани, но я не хотела отнимать у нее торжества, и, как ни больно было моему самолюбию, я удовольствовалась тем, что сыграла [маленькую старую сонату Плейеля](#), которую я учила, когда меня еще только начинали учить на фортепиано. Разумеется, меня хвалили, но не так, как Таню. Одна маменька поняла мое намерение и, поцеловав меня, сказала, что она всегда была уверена в моем добром сердце. Я просила маменьку, чтобы она позволила Тане приехать к нам, маменька согласилась, и Таня увидит, буду ли я уметь любить ее и быть ей благодарной...

29 января.

Сегодня, после обеда, папенька подозвал меня и братцев к столу. «Давайте играть, дети», — сказал он. Мы подошли к столу, и я очень удивилась, что на столе была географическая карта, которую я у папеньки видела; с тою только разницею, что она была наклеена на доску, но на тех местах, где находились названия городов, были маленькие дырочки. «Как же мы будем играть?» — спросила я. — А вот как. — Тут папенька роздал нам по несколько пуговок, на которых были написаны имена разных городов России, у этих пуговок были приделаны заостренные иголки. «Вы прошлого года, — сказал нам папенька, — ездили в Москву и, верно, помните все города, которые мы проезжали?» — Как же, помним, помним! — вскричали мы все. «Так слушайте же: вообразите вы себе, что мы опять отправляемся в Москву, но что кучера не знают дороги и беспрестанно спрашивают, чрез какой город нам надобно ехать? Вместо того, чтоб нам показывать кучерам дорогу, мы будем вставлять в эти дырочки наши пуговики, и тот, у кого останется хоть одна пуговица и он не будет знать, куда поместить ее, тот должен будет заплатить каждому из нас по серебряному пятаку, — и это будет справедливо, потому что если б в самом деле в дороге наш проводник не

умел показать ее, то мы были бы принуждены остановиться на месте или воротиться назад и, следовательно, издерживать напрасно деньги». — О! — сказала я. — Это очень легко: здесь на карте все города написаны. Вот видите ли, — сказала я братцам, — вот Петербург, а от него идет линеечка, а на этой линеечке вот Новгород, вот Торжок, вот Тверь. — И почти в одну минуту мы поставили на места наши пуговицы: Петербург — на Петербург, Новгород — на Новгород, Крестцы — на Крестцы и так далее; одному Васе было немножко трудно, но я ему помогла. «Прекрасно! — сказал папенька, — я вами очень доволен, и надобно вам заплатить за труды; вот вам каждому по пяточку. Теперь посмотрим, в самом ли деле вы так хорошо помните эту дорогу?» С этими словами папенька положил на стол другую карту. — Что это такое? — спросила я. «Это та же карта России, — отвечал папенька, — только с тою разницею, что здесь нет надписей и вам придется угадывать города по их местоположению. Такие карты называются немymi картами. На первый раз я вам помогу и покажу место Петербурга, вот он! Теперь прошу покорно отыскать мне дорогу в Москву. Кто ошибется, тот заплатит мне пяточок за ложное известие». — О, папенька, это очень легко, — сказала я, и, увидевши, что и на этой карте от Петербурга идет линеечка, мы вместе с братцами скоро стали ставить одну пуговицу за другой, и скоро пуговицы наши были поставлены на места. «Хорошо, — сказал папенька, — посмотрим, куда-то вы меня завезли!» С этими словами он вынул прежнюю карту и, показывая на нее, сказал: «Хорошо! Новгород поставлен на место; а теперь... ге! ге! Вместо Крестцов вы меня завезли в Порхов, потом на Великие Луки. Торжок залетел в Велиж, Тверь в Поречье, и Смоленск вы приняли за Москву. Покорно благодарю: прошу расплатиться за мой напрасный проезд». И наши пяточки перешли снова к папеньке. — Но согласитесь, — сказала я, отдавая ему деньги, — что тут очень легко было ошибиться; посмотрите: обе дороги идут вниз, и Смоленск почти на одном расстоянии с Москвою. — «Разумеется, ваша ошибка была простительна, — отвечал папенька, — хотя все-таки по чертам, которыми обведена каждая губерния, можно было догадаться, что вы не туда заехали. Впрочем, есть вернейшее средство узнавать на карте то место, которое ищешь, а именно: по линиям, которые, как решеткой, покрывают карту и называются меридианами; но об этом поговорим после, а теперь я вам дам один только совет, как вперед не ошибаться. Возьмите карту: посмотрите на ней хорошенько фигуру тех мест, которые вам надобно заметить, зажмурьте глаза и старайтесь представить в уме своем то, что вы видели на карте; потом попробуйте начертить замеченное вами место на бумаге и поверьте вами нарисованное с картою»...

2 мая 1834 года.

Вчера, входя в маменькину комнату, я увидела у нее на столе большой кожаный мешок; я хотела было приподнять его, но он едва не выпал у меня из рук — такой он был тяжелый.

— Что это такое? — спросила я у маменьки.

— Деньги, — отвечала она.

— Как! Это все деньги? Сколько же тут денег?

— Пятьсот рублей, — отвечала маменька.

— И это все ваши? Отчего же, маменька, вы часто говорите, что вы небогаты?

Маменька улыбнулась.

— Скажи мне, пожалуй, как ты думаешь, что это значит: быть богатой?

— Быть богатой?.. Это значит иметь много денег, иметь сто, двести, пятьсот рублей.

— А как ты думаешь, что такое деньги?

— Деньги?.. То есть рубли, полтинники, четвертаки, двугривенные, гривенники, пяточки...

— Ну, а что еще?

— Империялы, полуимпериялы.

— Хочешь ли, Маша, — продолжала маменька, — я тебе к обеду насыплю на тарелку целковых?

— Вы смеетесь надо мною, маменька, разве можно есть целковые?

— А что же ты ешь каждый день?

— Вы это знаете, маменька, — суп, хлеб, жаркое...

— А откуда берется и суп, и хлеб, и жаркое?

— Хлеб приносит каждый день булочник, за другою провизиею Иван ходит на рынок.

— Как ты думаешь, Иван даром берет провизию?

— О нет, маменька, я знаю, что вы ему даете денег на провизию.

— Стало быть, ты неправду сказала, будто не ешь денег; ты их ешь каждый день за обедом.

— Да, это правда.

— Теперь ты поймешь, если я скажу тебе, что ты одета деньгами, что ты спишь, сидишь на деньгах, потому что твое платье, стул, постель, часы, все, что ты видишь в комнате, все куплено на деньги.

— Это правда, маменька, но это так смешно кажется подумать, что я сижу и сплю на деньгах.

— Скажи же мне теперь, что такое деньги?

— О! Теперь я знаю: деньги — это платье, хлеб, мебель — словом, все, что мы употребляем.

— Ты можешь к этому прибавить и квартиру, потому что я каждый год плачу за нее хозяину деньги.

— Это правда, маменька, но мне все кажется, что пятьсот рублей много, очень много денег.

— Ты это говоришь потому, что не знаешь цены вещам.

— Что это значит, маменька, цена вещам?

— Например, как ты думаешь, сколько раз ты можешь пообедать за пятьсот рублей?

— Не знаю, маменька.

— Поди, принеси мою расходную книгу, и мы посмотрим.

Я принесла расходную книгу, и маменька сказала мне:

— Посмотри, что нам стоит нынешний обед?

— Пять рублей сорок копеек.

— А вчерашний?

— Четыре рубля шестьдесят копеек.

— А третьего дня?

— Два рубля девяносто копеек.

— А четвертого дня?

— Семь рублей двадцать копеек. Я не знаю, как и счесть, маменька; каждый день все разный расход.

— Я тебе помогу. Сосчитай, сколько мы издержали в продолжение недели; сколько будет?

Я насчитала тридцать пять рублей семьдесят копеек.

— Это делает с небольшим пять рублей в день; ты видишь, что пятисот рублей неостанет и на сто обедов, то есть с небольшим на три месяца, не считая ни платья, ни квартиры, ни других издержек.

Признаюсь, этот неожиданный счет очень удивил и даже испугал меня.

- Вообрази себе, — продолжала маменька, — что есть люди, которые не имеют пятисот рублей и в продолжение целого года.
- Да как же живут они? — спросила я.
- Они едят только хлеб и щи, иногда кашу, и это еще люди трудолюбивые, достаточные; есть другие, которые и того не имеют.
- Скажите же мне, маменька, что же бы вы делали, если б мы были бедны; как же бы мы жили?
- Как другие: мы бы стали работать за деньги и особенно не издерживали больше нашего дохода. Впрочем, так надобно поступать и богатым людям; без того и богатый будет в нужде, как бедный.
- Разве богатый может быть в нужде?
- Очень легко: если он будет издерживать все свои деньги на вещи ненужные, на прихоти, тогда у него неостанет их и на необходимые, или он принужден будет войти в долги. Это-то состояние я называю — быть в нужде, быть бедным.
- Скажите мне, маменька, каким образом входят в долги?
- Двумя способами: или не платят мастерам, которые для нас работают разные вещи, или занимают у тех, у которых денег больше нашего. Первый способ — величайшая несправедливость; нет ничего безнравственнее, как удерживать деньги людей, которые для нас трудились. А второй способ равняет нас с нищими, заставляя нас как будто просить милостыню. Того и другого можно избежать только хорошим хозяйством.
- Вы и папенька обещали меня учить хозяйству; скажите мне, сделайте милость, что же такое хорошее хозяйство?
- Хорошее хозяйство состоит в том, чтоб издерживать ни больше, ни меньше, как *сколько* нужно и *когда* нужно. Я очень бы хотела научить тебя этому секрету, потому что он дает возможность быть богатым с небольшими деньгами.
- Кто же вас научил ему, маменька?
- Никто. Я должна была учиться сама и оттого часто впадала в ошибки, от которых мне бы хотелось тебя предостеречь. Меня не так воспитывали: меня учили музыке, языкам, шить по канве и особенно танцам; но о порядке в доме, о доходах, о расходах, вообще о хозяйстве мне не давали никакого понятия; в мое время считалось даже неприличным девушке вмешиваться в хозяйство. Я видела, что белье для меня всегда было готово, обед также, и мне никогда не приходило в голову подумать: как все это делается? Помню только, что меня называли хорошею хозяйкою, потому что я разливала чай, и добродушно этому верила. Когда я вышла замуж, тогда увидела, как несправедливо дано было мне это название: я не знала, за что принятая, все в доме у меня не ладилось, и твой папенька на меня сердился за то, что я никак не умела свести доходов с расходами. Я издерживала на одно, у меня не доставало на другое; так что я тогда была гораздо беднее, нежели теперь, хотя доходы наши все одни и те же.
- Отчего же так?
- Я не знала цены многим вещам и часто платила за них больше, нежели сколько они стоят; а еще больше оттого, что не знала, какие вещи мне необходимо нужны и без каких можно было обойтись; однако ж мне не хотелось, чтобы твой папенька на меня сердился, и я до тех пор не была спокойна, пока не привела в порядок нашего хозяйства.
- Как же вы привели его в порядок?
- Я начала с того, что стала отдавать себе отчет в моих издержках; пересматривая расходную книгу, я замечала в распределении наших издержек те вещи, без которых нам можно было обойтись или которые могли быть дешевле. Я заметила, например, что мы платили слишком дорого за квартиру, и рассудила, что лучше иметь

ее этажом выше, нежели отказывать себе в другом отношении. Так поступила я и с прочими вещами.

— Скажите мне, маменька, что значит распределение издержек?

— Распределение издержек или, все равно, распределение доходов есть главнейшее дело в том хорошем хозяйстве, о котором мы говорим. Это понять довольно трудно; но я предполагаю в тебе столько рассудка, что думаю, при некотором размышлении, ты поймешь меня. Ты помнишь, мы говорили, что деньги — это те же вещи, которые нам нужны: платье, стол, квартира; поэтому надобно на каждую из этих вещей определить или назначить часть своего дохода. От этого назначения или распределения зависит хорошее хозяйство, а с тем вместе и благосостояние семейства; но при этом распределении мы должны подумать о том, чем мы обязаны самим себе и месту, занимаемому нами в свете.

Это я совершенно не поняла.

— Скажите, — спросила я у маменьки, — что значит место, занимаемое нами в свете?

— Количество денег, которые мы имеем, — отвечала маменька, — или, лучше сказать, количество вещей, которое можно получить за деньги, бывает известно всем нашим знакомым, и потому, когда мы говорим, что такой-то человек получает столько-то дохода, то с тем вместе рождается мысль о том образе жизни, какой он должен вести, или о тех вещах, которые он должен иметь.

— Почему же должен, маменька? Кто заставляет человека вести тот или другой образ жизни, иметь у себя те или другие вещи?

— Если хочешь, никто, кого бы можно было назвать по имени, но в обществе существует некоторое чувство справедливости, которое обыкновенно называют общим мнением и с которым невозможно не соотносываться. Я бы могла, например, не занимать такой квартиры, как теперь, жить в маленькой комнате, спать на войлоке, носить миткалевый чепчик, выбойчатое платье, какое у нянюшки, однако же я этого не могу сделать.

— Разумеется, маменька: все, кто приезжает к нам, стали бы над нами смеяться.

— Ты видишь поэтому, что место, которое я занимаю в свете, заставляет меня делать некоторые издержки, или, другими словами, иметь некоторые вещи, сообразные с моим состоянием. Заметь это слово: *сообразные* с моим состоянием; так, например, никто не станет укорять меня за то, что я не ношу платьев в триста и четыреста рублей, какие ты иногда видишь на нашей знакомой княгине. Свет имеет право требовать от нас издержек, сообразных с нашим состоянием, потому что большая часть денег, получаемых богатыми, возвращается к бедным, которые для нас трудятся. Если бы богатые не издерживали денег, тогда бы деньги не приносили никому никакой пользы, и бедные умирали бы с голоду. Так, например, если бы все те, которые в состоянии содержать трех или четырех слуг, оставили бы у себя только по одному, то остальные бы не нашли себе места. Теперь ты понимаешь, что значит жить прилично месту, занимаемому в свете? Но, при распределении издержек, мы должны думать и о том, чем мы обязаны перед самими собою, т. е. мы должны знать, сколько наши доходы позволяют нам издерживать. Есть люди, которые из тщеславия хотят казаться богаче, нежели сколько они суть в самом деле. Это люди очень неразумные; для того, чтобы поблистать пред другими, они отказывают себе в необходимом; они всегда беспокойны и несчастливы; они часто проводят несколько годов роскошно, а остальную жизнь в совершенной нищете; и все это потому только, что не хотят жить по состоянию. Ты помнишь, папенька рассказывал о своем секретаре, который в день своей свадьбы издержал весь свой годовой доход, потом продал мебель, чтобы не умереть с голода в продолжение года, и, наконец, пришел просить у нас денег на дрова.

— Научите же, маменька, каким образом надобно жить по состоянию?

— Я тебе повторяю, что у меня на каждый род издержек назначена особенная часть моих доходов, и я назначенного никогда не переступаю. Правда и то, что мне легче других завести такой порядок, потому что я каждый месяц получаю непременно определенную сумму. Тем, которые получают деньги в разные сроки, по различным суммам, труднее распорядиться. Впрочем, всякое состояние требует особенного, ему свойственного хозяйства; всякий должен стараться приспособить порядок своего дома к своим обстоятельствам. Так, например, если б у меня было вас не трое, а больше или меньше, тогда бы я иначе должна была распределить свои доходы.

— Это правда, маменька; надобно все делить поровну.

— Поровну? Я этого не скажу. Дело не в том, чтобы делить все поровну, но чтобы всякому доставалось сообразно его потребностям. Так, например, я иногда употребляю для себя денег больше, нежели для тебя, то есть беру для себя больше материи, нежели для тебя, а между тем мы получаем поровну, обеим выходит по два платья.

— Все это очень хорошо, маменька, но только трудно запомнить.

— Совсем не так трудно, как ты думаешь, и я тебе дам прекрасное средство припомнить все, что я тебе до сих пор говорила.

С этими словами маменька вынула из бюро небольшую книжку, переплетенную в красный сафьян, и сказала мне:

— Вот тебе подарок: с сегодняшнего дня ты будешь сама располагать теми деньгами, которые я назначаю для твоего содержания, словом, ты будешь делать для себя то, что я делаю для целого дома. Каждый месяц ты будешь получать от меня сумму денег, для тебя назначенную, сама будешь располагать ею и записывать издержки в этой книжке. На левой стороне ты напишешь в ней слово: *приход*, выставишь год и месяц; на другой страничке — слово: *расход*, и также выставишь год и месяц; на этой странице по числам ты будешь записывать свои издержки. Понимаешь ли?

— Кажется, маменька.

— Заметь еще вот что: каждый месяц ты мне стоишь около двадцати рублей; однако эта сумма, двадцать рублей, не издерживается в каждом месяце. В начале зимы или лета я приготавливаю все, что для тебя нужно; в следующие за тем месяцы я откладываю ту сумму, которая остается от мелочных ежемесячных издержек. Теперь у меня к первому мая осталось для тебя шестьдесят пять рублей, да сверх того тебе следует получить на нынешний месяц двадцать рублей, итого восемьдесят пять рублей. Подумай же хорошенько, на что ты должна их употребить; завтра я спрошу тебя об этом.

8 мая.

Все, что говорила до сих пор маменька, было довольно трудно для моего понятия, так трудно, что я не решилась записывать в журнал моих ежедневных с нею об этом разговоров, и уже по прошествии недели, вразумев хорошенько все, что маменька мне говорила, я решилась записать их. Я прочитала маменьке все записанное мною, и она похвалила меня, сказав, что я совершенно поняла ее.

Итак, у меня теперь восемьдесят пять рублей! Что ни говори маменька, думала я, а это много денег. Я помню, когда папенька давал мне в день моих именин синенькую бумажку, я не знала, что с нею делать; а теперь у меня семнадцать новых синеньких бумажек!..

По совету маменьки я написала на первом листе с левой стороны:

Приход, 1 мая, 85 рублей

и, пришедши к маменьке, сказала ей:

— Маменька! Теперь время приходит думать о том, что мне надобно к лету: поедемте в лавки.

— Погоди, — отвечала она, — надобно прежде подумать, что тебе именно нужно.

— Но как же я могу знать, не побывав прежде в магазинах?

— Ничего нет легче, — сказала она, — ты знаешь, что мы должны издерживать деньги только на те вещи, которые нам действительно нужны. Подумай хорошенько, чего тебе недостает в твоём гардеробе, сообразишься с своими деньгами и реши наперед, что тебе именно нужно.

Подумавши немного, я нашла, что мне необходимо нужно два платья, потому что хотя и есть у меня два белых платья, но одно уже старо и стало мне узко и коротко, другое можно еще поправить. Розовое платье еще можно носить, но голубое никуда не годится. Порядочно рассудив об этом, я сказала маменьке:

— Мне бы хотелось иметь два платья: одно получше, однако ж не очень маркое, а другое просто белое. Как вы думаете, правду ли я говорю?

— Посмотрим, — отвечала маменька. — Что тебе еще нужно?

— Моя зимняя шляпка совсем уже истаскалась; я думаю, что теперь мне надобно другую, соломенную.

— Тебе нужны еще башмаки, перчатки.

— Это правда, маменька, но это все безделица, и у меня еще останется довольно денег.

— Тем лучше; никогда не должно издерживать всего своего дохода, надобно думать и о непредвиденных случаях; для них надобно всегда оставлять что-нибудь в запас. Тебе случается терять платки, ты неосторожна и часто мараешь свои платья, наши недостатки всегда нам стоят дорого; кто не хочет избавиться от них, тот должен сберечь для них, в запас, деньги. Подумай еще хорошенько, не нужно ли тебе еще чего?

— Тут, кажется, все, маменька.

— Хорошо, но я все думаю, что ты что-нибудь забыла, и потому я тебе советую определять не слишком большую сумму на свои платья, например не больше тридцати рублей на оба платья, пятнадцать или двадцать на шляпку — это уже составит пятьдесят рублей.

— Но у меня восемьдесят пять рублей, маменька.

— Это правда; вспомни, однако, что у тебя остаются еще другие издержки и что мы условились оставлять хотя что-нибудь к будущему месяцу. Завтра мы поедем в лавки.

9 мая.

Сегодня я проснулась очень рано: я почти не могла спать от мысли, что сегодня я сама пойду в магазины, сама буду выбирать себе платья, сама буду платить за них. Как это весело!..

Я возвратилась домой. Как странно жить в этом свете и как еще мало у меня опытности! Войдя в лавку, я стала рассматривать разные материи; прекрасное тебе, белое с разводами, бросилось мне в глаза.

— Можно мне купить это? — спросила я у маменьки.

— Реши сама, — отвечала она. — Почем аршин? — продолжала маменька, обращаясь к купцу.

— Десять рублей аршин, это очень дешево; это настоящая французская материя; ее ни у кого еще нет.

— Тебе надобно четыре аршина, — заметила маменька, — это составит сорок рублей, то есть больше того, что ты назначала на два платья.

— Да почему же, маменька, я обязана издержать на мое платье только тридцать рублей?

— Обязана потому, что надобно держать слово, которое мы даем себе. Скажи мне, что будет в том пользы, если мы, после долгого размышления, решимся на что-нибудь и потом ни с того ни с сего вдруг переменим свои мысли?

Я чувствовала справедливость маменькиных слов, однако ж прекрасное тебе очень прельщало меня.

— Разве мне нельзя, — сказала я, — вместо двух платьев сделать только одно?

— Это очень можно, — отвечала маменька, — но подумай хорошенько: ты сама находила, что тебе нужно два платья, и действительно тебе без новых двух платьев нельзя обойтись; ты сама так думала, пока тебя не прельстило это тебе. Вот почему я советовала тебе привыкнуть заранее назначать свои издержки и держаться своего слова.

Еще раз я почувствовала, что маменька говорила правду, но невольно вздохнула и подумала, как трудно самой управляться с деньгами. Кажется, купец заметил мое горе, что тотчас сказал мне:

— У нас есть очень похожий на это кембрик.

В самом деле он показал мне кисею, которая издали очень походила на тебе; я спросила о цене; три рубля аршин. Эта цена также была больше той суммы, которая назначена была мною на платье.

— Нет, это дорого, — сказала я маменьке.

Маменька улыбнулась.

— Погоди, — сказала она, — может быть, другое платье будет дешевле, и мы сведем концы.

И точно: я нашла прехорошенькую холстинку по рублю пятидесяти копеек аршин. Таким образом эти оба платья вместе только тремя рублями превышали сумму, мною для них назначенную.

— Не забудь, — сказала маменька, — что мы должны навести эти три рубля на других издержках.

Мы просили купца отложить нашу покупку, сказав, что придем за нею, и пошли в другой магазин. Там, по совету маменьки, мы купили соломенную шляпку, подложенную розовым гроденаплем, с такою же лентою и бантом. За нее просили двадцать рублей, но когда маменька поторговалась, то ее отдали за семнадцать рублей. Потом мы пошли к башмачнице; я там заказала себе ботинки из дикенького сафьяна за четыре рубля. Оттуда мы пошли к перчаточнице и купили две пары перчаток.

— Я предвидела, — сказала маменька, — что мы что-нибудь забудем; ведь нам надо взять подкладочной кисеи к твоим платьям.

И мы возвратились в первый магазин. Вошедши в него, я увидела даму, которая, сидя возле прилавка, разбирала множество разных материй, которые купец ей показывал. «Вот шерстяная кисея, фуляры, — говорил купец, — вот тебе, шали, шелковая кисея, французские кашемиры». Дама на все смотрела с равнодушным презрением, однако все покупала. Это ей годилось для утреннего туалета, то для вечера, то таскать дома; и она все покупала. Я смотрела на эту даму с удивлением и даже, боюсь сказать, с какою-то завистью. Как она должна быть богата, думала я. Между тем маменька взяла подкладочной кисеи и сказала мне: «Пойдем же, Маша». Маменькин голос заставил даму оборотиться; она тотчас встала и подошла к маменьке.

— Ах! Это ты, Катя, — вскричала она, — тебя нигде не видно, ты совсем забыла меня, а помнишь, как мы вместе учились танцевать.

Маменька отвечала ей, что у нее домашние хлопоты отнимают все время, и к тому же, прибавила она, тебя никогда не застанешь дома.

— О, это просто *эпиграмма* * на меня! — отвечала дама, — напротив, я сейчас еду домой. Поедем вместе со мною, я тебе покажу новую картину, которую купил мой

* Т. е. насмешка. (Примеч. В. Ф. Одоевского.)

муж. Он уверяет, что она чудесна; ты большая мастерица рисовать и скажешь мне о ней свое мнение. Как бы я рада была, если б мой муж ошибся! Может быть, это бы его отучило от страсти к картинам: он на них совершенно разоряется.

После некоторого сопротивления маменька согласилась; мы сели в карету богатой дамы и поехали к ней.

Я не могла удержаться и сказала:

— Ах! Как весело ездить в карете.

— Да, — заметила дама, — я не знаю, как можно обходиться без кареты.

— Однако же, — промолвила маменька, — есть люди, которые без нее обходятся.

— Вообрази себе, Катя, — отвечала дама, — что муж мой хотел обойтись без кареты и ездить всегда в кабриолетке, но я доказала ему, что без кареты обойтись невозможно.

— Но когда содержание кареты превосходит наше состояние, тогда что делать?

— Уж что бы там ни было, — отвечала дама, — но карета — вещь необходимая; надобно же иногда приносить жертву тому месту, которое мы занимаем в свете.

Маменька взглянула на меня — я поняла ее. Мы приехали.

Маменька прошла с дамой в ту комнату, где была картина, а я осталась в гостиной. Здесь, на ковре, играла маленькая дочь хозяйки; никто ею не занимался; на ней было бархатное платье, но уже довольно старое; поясок заколот булавкою, потому что пряжка была изломана; пелеринка была смята и изорвана; башмаки стоптаны.

Когда мы вышли от этой дамы, я спросила у маменьки, заметила ли она странный туалет дитяти.

— Как не заметить, — отвечала она, — эта дама гораздо богаче меня, но дочь ее носит стоптанные башмаки, тогда как у тебя новые; это оттого, что моя приятельница целый век думает только о своих прихотях; никогда не соображает своего прихода с расходом; что она ни увидит, ей всего хочется; покупает все, что ей ни понравится, и мысль о том, что она может вконец разориться, оставить дочь без куска хлеба, ей никогда не приходит в голову. Она ничего не видит дальше настоящей минуты. Я того и жду, что она скоро совсем разорится и горькою бедностию заплатит за свою теперешнюю роскошь.

Это меня поразило.

— Ах, маменька, — сказала я, — клянусь вам, что я никогда не дам над собою воли прихотям.

— Обещай мне, по крайней мере, стараться об этом, — заметила маменька. — С первого раза трудно научиться побеждать себя.

Тут мы вошли в магазин, где я выбрала пояски, потому что маменька хотела за один раз купить все нужное, говоря, что не надобно понапрасну терять времени. Пока мы разбирали пояски, я увидела прекрасный шейный платочек, и мне очень его захотелось; он стоил только пять рублей.

— Маша, — сказала мне маменька, — ведь это — прихоть.

— Но, маменька, — возразила я, — мне очень нужен шелковый платочек, у меня ведь нет ни одного; у меня еще довольно осталось денег, почему же мне не купить этот платочек?

— А сколько у тебя осталось денег?

— Двадцать рублей... доход мой за целый месяц.

— Вспомни, что тебе надобно заплатить еще, по крайней мере, десять рублей за шитье платьев и также оставить что-нибудь в запасе, потому что до окончания месяца ты можешь иметь еще нужду в деньгах.

— Но, маменька, если я куплю этот платочек, у меня еще останется пять рублей.

— Тебе очень захотелось этого платочка, он стоит довольно дорого, а ты можешь без него обойтись. Знаешь ли ты, Маша, что на эти пять рублей можно купить десять аршин выбойки, а из десяти аршин выйдет два платья дочерям той бедной женщины, которая к нам ходит и которая так долго была больна и не могла работать.

Эти слова привели меня почти в слезы.

— Нет, маменька, — сказала я, — я не хочу платочка, купите на пять рублей выбойки для бедных малюток.

Маменька поцеловала меня.

— Я очень рада, — сказала она, — что ты хочешь употребить деньги на действительную нужду, а не на прихоть. Ты сегодня сделала большой шаг к важной науке — науке жить. Когда тебе будет двенадцать лет, тогда ты мне будешь помогать в хозяйстве всего дома.

— Ах, как это будет весело, милая маменька! Только я не буду знать, как за это приняться, — сказала я, подумав немного.

— Не будешь уметь приняться? Ты примешься за все хозяйство точно так же, как принялась за свое собственное. Теперь запиши в своей книжке все, что ты издержала, это всегда надобно делать тотчас. Чтобы не забыть всего того, что мы говорили в продолжение всей этой недели, напиши на первом листе [слова Апостола Павла](#): «Тот богат, кто довольствуется тем, что имеет».

— Запиши также, — прибавила маменька, — [слова Франклина](#), великого человека, которого историю я когда-нибудь тебе расскажу: «Если ты покупаешь то, что тебе не нужно, то скоро ты будешь продавать то, что тебе необходимо».

Два дерева

У одного деревенского помещика было два сына-близнеца, т. е. которые родились в одно время. При их рождении отец посадил два яблонные деревца. Дети подросли, и деревца подросли. Когда детям минул третий год, отец им сказал: «Вот тебе, Петруша, дерево, и вот тебе, Миша, дерево. Если вы будете за ними хорошо ухаживать, то на них будут яблоки, и эти яблоки ваши».

Это было в начале весны, когда еще во рвах лежит снег, трава еще не зеленеет и на деревьях нет ни листика.

Дети были очень рады такому подарку и каждое утро бегали посмотреть, не выросли ли яблоки на их деревцах. Но не только яблок, но и листьев на них не было. Детям было очень досадно, что их деревца такие ленивые или скупые, что от них не только яблочка, но и ни одного листика добиться нельзя. Миша так даже на свое дерево рассердился, что перестал ходить к нему в гости; бегал и играл по аллеям в другой стороне сада, а на свое деревцо и не заглядывал.

Петруша поступал не так. Он не пропускал ни дня, чтобы не посмотреть на свое деревцо, и скоро заметил в нем большую перемену.

Еще с зимы остались на сучьях какие-то шишечки, и не раз, смотря на них, Петруша думал, зачем эти шишечки? Уж не срезать ли их, тогда бы все прутики были гладенькие. Однако ж он не решился их срезать, а спросил о том у садовника.

Садовник засмеялся.

— Нет, — сказал он, — сударь, отнюдь не режьте этих шишек: без них дерево жить не может. Вот ужо увидите, что из них будет.

Петруша поверил садовнику, а все-таки ему было жаль, что прутия на яблоньках не гладенькие.

Однажды Петруша, осмотревши свое деревцо, заметил, что шишечки на ветвях сделались больше и как будто разбухли.

Сначала он подумал, не занемогло ли деревцо, но, посмотрев повнимательнее, увидел, как иные из шишечек раздвоились и из них выглядывало что-то прекрасного зеленого цвета.

— Посмотрим, что будет, — подумал Петруша. Теперь он стал еще чаще и внимательнее присматривать за своим деревцом.

Вот через несколько времени то, что было в почке зеленоватого цвета, обратилось в маленькие листики, свернутые в трубку. Эти зеленые листики были сверху прикрыты двумя черноватыми листиками.

— Посмотри, — говорил Петруша садовнику, — посмотри, Игнатьич, уж на моем деревце листики, только они что-то не скоро растут; им, видно, мешают эти негодные черные листики, которые их держат будто в тисках. Я хочу помочь бедным листикам выйти скорее на свет. Я на одной ветке уже снял эти черные листики, теперь зеленые будут расти свободнее.

Садовник опять рассмеялся.

— Напрасно, — сказал он, — эти черные листики словно крышки над зелеными, а зеленые еще молоды, слабы; плохо им будет без крышки.

Это очень огорчило Петрушу, особенно когда к вечеру сделалось что-то очень холодно и папенька велел затопить камин. Греясь против огня и посматривая на окошки, которые запушило вешним снегом, Петруша вспомнил о своем деревце и подумал: каково-то моим бедным зеленым листикам, у которых я снял покрывашку?

На другой день Петруша, одевшись, тотчас побежал в сад к своему деревцу, и что ж он увидел? Все те почки, с которых он снял покрывашку, завяли, а те, на которых осталась покрывашка, как ни в чем не бывали. Петруша пожалел, да уж делать нечего.

Между тем время идет да идет; листики с каждым днем становятся больше и больше и раздвигают свою черную покрывашку.

Вот между листиками показалась новая зеленая почка. Садовник говорил, что это завязь.

Вот на завязи показалась маленькая белая шишечка.

Эта шишечка росла, росла, раскрылась и сделалась цветком.

Этих белых цветков было так много, что издали казалось, будто все деревцо покрыто снегом. Петруша не мог налюбоваться своим деревцом.

Садовник сказал, что почти с каждого цветка выйдет по яблоку. Это казалось Петруше очень странным, каким это образом из цветка делается яблоко? А между тем ему хотелось узнать, сколько у него будет яблоков; каждый день он принимался считать цветки, но никак не мог перечесть, — так их много было.

Однажды, когда он занимался таким счетом, Петруша видит, что-то между цветами шевелится; смотрит — то прехорошенький зеленый червячок ползет по ветке. Петруша вскрикнул от радости.

— Смотри, Игнатьич, к моим белым цветочкам гости пришли, — сказал он садовнику, — посмотри, так и выются вокруг них.

— Хороши гости! — отвечал Игнатьич. — Эти гости много кушают. Если их не сбрасывать, то они ни одного листочка на дереве не оставят. Нынешний год такая напасть от червей, что не успеваешь их обирать. Того и смотри, что ни одного яблока с дерева не снимешь.

Петруша призадумался. Смотрит, в самом деле, червяки припадут то к листку, то к цветку и точат так исправно, что не пройдет минуты, как из листка уже целый край выеден.

Жаль было Петруше зеленых червячков, а делать было нечего: не кормить же было их яблоками!

Вот Петруша принялся обирать этих злых червяков, бросать их на землю и топтать.

Много было ему работы. Каждое утро он приходил избавлять свое деревцо от незваных гостей, и каждое утро они снова появлялись. А тут другая беда: смотришь — на деревцо и муравьи полезли. Петруша схватил было одного, но муравей так щипнул его за палец, что Петруша даже закричал. На крик прибежал Игнатьич, узнал, в чем дело, рассмеялся по своему обыкновению, взял немного сырой земли, потер ею Петрушин пальчик, и боль прошла.

— Ну, — говорил Петруша Игнатьичу, — теперь совершенная беда, — плохо моему деревцу приходится; от червяков я мог его избавить, они так лениво ходят, а вот эти кусаки еще и бегают скоро, их и не поймаешь.

— Не трогайте их, — сказал Игнатьич, — они за делом на дерево ходят.

— Как не трогать, — говорил Петруша. — Если уж они меня кусают, то что ж от них достанется бедному деревцу, у которого нет ни рук, ни ног, которому нечем от них защититься.

— Муравьи больно кусаются, — заметил Игнатьич, — но они деревцу вреда не делают.

— Да зачем же они на него ходят? — спросил Петруша.

— А вот зачем, — ответил Игнатьич, — посмотрите!

Петруша взглянул и с большим удовольствием увидел, как пара муравьев, схватив большого червяка в охапку, тащила его с дерева долой.

Петруше показалось это очень любопытным. Ему захотелось узнать, что тут будет.

Вот видит он, что муравьи с большим трудом стащили червяка на землю. Тут уж им тащить было гораздо труднее; да, к счастью, встретился им третий муравей, верно, знакомый или просто добрый молодец. Он тотчас бросился на подмогу двум работникам, и они все трое вместе начали очень искусно переваливать червяка с травки на травку. Тут Петруша заметил, что задний муравей иногда становился на цыпочки, чтобы приподнять червяка, а передний вешался всем телом, чтобы перетянуть червяка на другую сторону. Петруше хотелось узнать, куда пробираются муравьи с своей ношей.

Вот они выбрались из травы. Петруша смотрит, — в том месте по земле словно дорожка проложена и по этой дорожке снуют муравьи в обе стороны и в больших хлопотах: кто тащит зерно, кто соломинку, кто мошку, кто просто бежит; двое встретятся, остановятся, как будто поговорят друг с другом, и опять за работу. На этой большой дороге наши работники встретили много помощников; червяка потащили так скоро по глади, что Петруша едва успевал следовать за ним глазами; наконец, муравьи добрались до небольшой кучки, складенной из соломы и хворосту, — такая кучка называется муравейником, — вскарабкались на кучку, правду сказать, не без труда: иной свалился, иному, может быть, и колотушка досталась, но всякий скоро оправлялся и опять за работу, а работа была нелегкая. Червяк извивался в разные стороны и, кажется, никак не хотел идти в гости в муравейник, но пока одни его держали за ножки, за головку, за волоски, другие проворно разбрасывали под червяком хворост, так что червяк мало-помалу все опускался вглубь, а наконец, его и совсем не стало видно.

Петруше жаль было бедного червяка, но, однако же, с тех пор, встречаясь с муравьями, он всегда снимал картуз и очень вежливо им говорил: «Здравствуйте, господа муравьи, мои помощники, много ли вы червей с моего дерева натаскали?» Одного только жаль было, что муравьи на эту учтивость никогда ничего не отвечали. Правда, когда Петруша подходил к ним слишком близко, они поднимали головки и как будто слушали, но, видя, что Петруша им никакого вреда не делал, снова принимались за свое дело.

Благодаря этим-помощникам, а также и своему попечению, скоро на Петрушином деревце не осталось больше ни одного червячка, и цветки росли все пышнее и пышнее и пахли свежим запахом; иногда налетали на них мотыльки и бабочки, опускали свой носик в чашечку цветка, тянули из него сладкую каплю и опять улетаели.

Петруше также хотелось заглянуть в самый цветок и посмотреть, что в нем такое. Он заметил, что у яблонного цветка пять белых листиков.

Отчего, подумал он, у этого цветка только пять листиков? у других не больше ли будет? Посмотрим.

Он принялся считать белые листики то на том, то на другом цветке, но по всей яблоне на каждом цветке было пять листиков, — ни больше, ни меньше, и у каждого эти пять листиков вставлены были в зеленую трубочку. Заглянул он в середину цветка: посреди белых листиков было множество тоненьких тычинок с желтыми головками. Он было принялся считать и эти тычинки, но никак не мог перечесть, — так этих тычинок было много.

Между тычинок торчало еще что-то беленькое, но без желтой головки.

Петруше захотелось узнать, что это такое между тычинками.

Он оборвал осторожно сперва белые лепестки цветка, потом тычинки и немало удивился, когда увидел, что в середине были какие-то пестики. Он счел их: их было также пять. Это ему показалось странным. Петруша сорвал еще несколько цветков: в каждом было внутри по пяти пестиков, — не больше и не меньше.

Петруша, заметив это, положил себе чаще заглядывать в цветки, чтобы узнать, что выйдет из этих пестиков.

Между тем время шло своим чередом; много было бед на молодое деревцо: то дождь лился долго, а после того Петруша смотрит, — по его деревцу мох потянулся. Сначала Петруша тому было очень обрадовался, что его деревцо принарядилось, а Игнатич опять начал смеяться.

— Эх, сударь, — сказал он, — как ваше-то деревцо мохом затянуло!

— Ну так что же? — отвечал Петруша. — Видишь, как красиво?

— Оно красиво, правда, — заметил Игнатич, — только вот что плохо, что вашему деревцу от такой красоты не поздоровится. Ведь этот мох — дармоед. От него ни цвета, ни плода, а между тем он вашим деревцом питается, сок из него тянет, на его счет живет.

Петруша послушался Игнатича, очистил мох, собрал его в бумажку, принес домой, и ему этот мох пригодился. Старшая сестрица выучила Петрушу наклеивать этот мох на бумагу, отчего выходили прехорошенькие картинки.

Были и другие беды. Вдруг дожди перестали идти, долго-долго не шли, и Петруша слышал, как старшие горевали, говоря: «Засуха, ужасная засуха!»

Петруша сначала не понимал, о чем тут горевать, когда дождь не идет и можно каждый день гулять сколь хочешь. Но однажды утром приходит он к деревцу, смотрит — листики свернулись, цветы повисли. Петруша так и всплеснул руками.

А Игнатич-насмешник опять смеется.

— Пригорюнилось никак, сударь, ваше деревцо?

— Да отчего это? — спросил Петруша.

— Известное дело отчего, — сказал Игнатич, — вы вашему деревцу пить не даете.

— Как пить?

— Да посмотрите, у него земля-то пыль пылью: коли не будете его поливать, так оно и совсем погибнет.

— Ах, какая беда, — вскричал Петруша. — Ну что теперь делать?

— Известное дело, — отвечал Игнатич, — полить его водой поскорее. Дайте, хоть я вам помогу.

Игнатъич обкопал землю вокруг деревца и принялся усердно поливать ее.

— Да что же это? — сказал Петруша. — Ты на смех, что ли, это делаешь? Выливаешь понапрасну воду на землю, и бедному деревцу ничего не достается.

— Уж будьте спокойны, сударь: ведь у деревца корешки-то в земле. Они всю воду высосут, а через корешки вода и в деревцо поднимется, и до листьев и до цветков доберется.

Петруше очень хотелось видеть, как вода будет пробираться вверх по деревцу, но этого он не мог никак заметить. Игнатъич говорил, что вода пробирается не снаружи, а внутри дерева. В самом деле, когда Петруша посмотрел на отрезанный сучок у другого дерева, то ясно увидел, что внутри сучка все были маленькие дырочки и что отрезанные места были сырые.

Петруша срезал несколько травок и увидел там дырочки еще явственнее, и из срезанных мест целыми каплями выходила жидкость, иногда белая как молоко. Петруша взял большой ствол от лопушника, разрезал его и увидел, что вдоль ствола шли все трубочки, по которым, вероятно, пробиралась вода из земли. Тогда Петруша поверил Игнатъичу. И в самом деле, политое деревцо к вечеру опять повеселело; молодые листья развернулись и цветы распустились.

КОММЕНТАРИИ

Образ дедушки, рассказывающего сказки, встречается уже в ранних произведениях Одоевского — «Новая мифология» и «Музыкальный инструмент» (1826). Однако эти сказки предназначались для взрослых, дедушка был просто безымянным рассказчиком. Первая детская сказка Одоевского «Городок в табакерке» вышла в 1834 г. В 1840 г. Одоевский подготовил первое издание «Детских сказок дедушки Ириней». Однако это издание так и не появилось в свет — из-за большого количества опечаток. Белинский уже опубликовал в «Отечественных записках» большую статью об этом сборнике (Отечественные записки, 1840, т. IX, № 3), и спустя год журналу пришлось объясниться с читателями, что рецензия на невышедшую книгу напечатана потому, что «Сказки» уже значились в списке опубликованных книг, а решение приостановить публикацию принял сам Одоевский в последний момент (Отечественные записки, 1841, т. XV, № 3, с. 25). Книга Одоевского вышла в свет только в 1841 г. В 1879 г. ее в расширенном виде переиздал Д. Ф. Самарин в III томе серии «Библиотека для юношества». «Сказки» не раз переиздавались в «Дешевой библиотеке» Суворина.

Детские сказки В. Ф. Одоевского не похожи на обычные детские сказки с волшебными превращениями и приключениями героев, с борьбой добра и зла. Хотя добро и зло реально присутствуют в каждом рассказе дедушки Ириней, но они не в увлекательном противоборстве фантастических существ, а в прозаических повседневных поступках, каждый из которых приносит природе или людям либо хорошее, либо дурное, просто по естественному ходу вещей.

Одоевский развил оригинальную педагогическую теорию, но трудно сказать, выросли ли его сказки из его теории или, напротив, сама теория складывалась под воздействием сказок. Во всяком случае, и в сказках и в теории отразились представле-

ние о ребенке как о личности, любовь к детям, стремление понять их и подействовать своим собственным примером. В статье «Педагогика к науке до науки» Одоевский писал: «Три пути действовать на ребенка: разумное убеждение, нравственное влияние, эстетическая гармонизация. Наказаниями никакого ребенка не исправите; зло в нем прикроется и только, вы прибавите ему новый порок — лицемерие. Кому недоступно убеждение (дело труднейшее), на того можно подействовать нравственным влиянием; ребенок вам уступит, потому что этого желаете вы, по любви к вам; не добились вы любви от ребенка, старайтесь развить его эстетическою гармонизацией) — музыкой, картиною, стихами. Все это трудно, но единственный путь к спасению. Часто забывают в деле педагогики, что тут два деятеля, ученик и наставник; всегда обращают внимание на ученика, предполагая, что наставник должен быть всегда совершенство, тогда как большею частью приходится учить учителя...» (Одоевский В. Ф. Избр. педагогич. соч., с. 167).

Рассматривая сказки с такой точки зрения, надо прежде всего всмотреться в личность самого дедушки Иринея. Это, конечно, не Ириней Модестович Гомозейко и даже не дядя Ириней из предназначенных для народа книжек «Сельского чтения». Вот что писал о дедушке Иринее Белинский: «А какой чудесный старик! какая юная, благодатная душа у него! какую теплотою и жизнью веет от его рассказов и какое необыкновенное искусство у него заманить воображение, раздражить любопытство, возбудить внимание иногда самым, по-видимому, простым рассказом! Советуем, любезные дети, получше познакомиться с дедушкой Иринеем. Не бойтесь его старости: <...> он не смутит вашего шумного веселья, не помешает вам играть, но с такою снисходительностию и любовью примет участие в вашей веселости, в ваших играх, научит вас играть в новые, неизвестные вам и прекрасные игры. Если вы пойдете с ним гулять — вас ожидает величайшее удовольствие: вы можете бегать, прыгать, шуметь, а он между тем будет рассказывать вам, как называется каждая травка, каждая бабочка, как они рождаются, растут и, умирая, снова воскресают для новой жизни» (Белинский В. Г. Собр. соч., т. 3. с. 75).

СЕРЕБРЯНЫЙ РУБЛЬ

Впервые — в издании Д. Ф. Самарина — «Библиотека для юношества», т. III, 1879.

ШАРМАНЩИК

Воспитательный Дом — казенное заведение для детей-сирот, в котором они получали, кроме крова и пищи, также первоначальное образование и воспитание. Эти дома были открыты по указу Екатерины II: в Москве — в 1764 г., в Петербурге — в 1770 г. Отметим здесь, что сам Одоевский стал в 1846 г. основателем и членом Общества посещения бедных, правила которого он разработал.

РАЗБИТЫЙ КУВШИН

Сказка основана на народном ямайском предании. По мнению Белинского, она «обнаруживает в авторе глубокое знание детского характера, в ней развивается практическая истина о необходимости-доброты, скромности и послушания, а между тем она — волшебная сказка, но в том и высокое ее достоинство: она действует на фантазию детей, а не на их рассудок, и потому практическая истина является в ней не моральною сентенциею, но живым чувством» (Белинский В. Г. Собр. соч., т. 3, с. 76).

ГОРОДОК В ТАБАКЕРКЕ

Впервые — отд. изд. 1834 г.

АНЕКДОТЫ О МУРАВЬЯХ

Впервые — «Детская книжка для воскресных дней» на 1835 год. Одоевский думал включить сказку также в издание 1840 г. (Белинский пишет об этой сказке как о части сборника), но в издание 1841 г. она не вошла. Перепечатана в издании: Одоевский В. Ф. Избр. педагогич. соч. М., 1955, с. 143— 146. Печатается по этому изданию.

МОРОЗ ИВАНОВИЧ

Сказка написана на основе русской народной сказки «Морозко». Однако она включает в себя ряд мотивов и элементов других народных сказок, например сказки «Гуси-лебеди», См. подробнее: Званцева Е. П. Новое и традиционное в сказках В. Ф. Одоевского. — Проблема традиций и новаторства в русской литературе XIX — начала XX века. Горький, 1981, с. 141.

О ЧЕТЫРЕХ ГЛУХИХ

Написана на основе индийского фольклора.

...веруют в божество, которое известно под названием Тримурти... — Божество Тримурти, т. е. «обладающее тремя обликами» — в индийской мифологии триада главных богов — Брахмы, Вишну и Шивы, представляемых как единое существо. Хотя все три божества обладают единой сутью, каждое из них воплощает три разные качества: Брахма — страстность, активность, деятельность, действенность; Вишну — ясность, уравновешенность, сознательность; Шива — пассивность, бессознательность, инертность. Причем это ведет к различию или, точнее, к своеобразию «функций» каждого бога. Если Брахма — творец мира, то Вишну — его хранитель, а Шива — разрушитель.

ЧЕРВЯЧОК

Впервые — «Детская книжка для воскресных дней» на 1835 г.

В рецензии на «Детскую книжку для воскресных дней» Л. А. Краевский писал об этой сказке: «Не очевидна ли во всем этом рассказе жизни червячка таинственная идея, глубокая аллегория, облаченная в самое простое, прелестное, самое понятное для детей выражение? Вот... образец того, каким образом делать доступными детскому разумению самые отвлеченные, даже метафизические истины. Дитя, прочитав этот рассказ, не только может заохотиться учиться естественной истории, но и примет в душу свою мысль великую, плодотворную мысль, которая никогда не забудется, породит множество других возвышенных помыслов и заложит основу нравственного совершенствования» (Журнал Министерства Народного Просвещения, 1835, ч. VII, с. 585).

ЖИТЕЛЬ АФОНСКОЙ ГОРЫ

Афонская гора — святая гора на северо-востоке Греции, на полуострове Айон Орос. На Афоне находится множество монастырей, это место постоянного паломничества, почитаемое в восточном православном мире.

СИРОТИНКА

Впервые — «Вчера и сегодня. Литературный сборник, изданный В. А. Соллогубом». СПб., 1846. Повесть вызвала резкую критику славянофилов, увидевших в позиции автора неуважение к народу, «псевдонародность». А. С. Хомяков упрекал Одоевского в статье «Мнение русских об иностранцах»: «Высокие явления ее нравственной жизни были почти неизвестны и нисколько не оценены. Всякий член общества думал так же, как изящный повествователь нашего времени, что любая девочка, из любого общественного заведения должна произвести духовный переворот во всякой общине Русских дикарей» (Хомяков А. С. Собр. соч., т. 1. М., 1861, с. 59). Еще более суровый отзыв дал в своей рецензии К. Аксаков. Он считал фальшивой не только саму идею, но и ее художественное воплощение. «Писатель не трудится над тем, чтобы узнать, понять его (народ. — В. Г.): для него узнавать и понимать в нем нечего; ему стоит только снизойти написать о нем. Противно видеть, когда он для вернейшего изображения прибегает к народному будто бы оттенку речи, к народным выражениям, дошедшим до его слуха через переднюю и гостиную. Такой умышленный маскарад, такая милостивая подделка, особенно когда пишут для народа, оскорбительна. В таком роде и повесть кн. Одоевского... Но никакая в свете Настя и никакой в свете образованный и воспитанный человек не может стать наряду с народом и осмелиться наставлять его в этом чувстве — его, силою веры прогнавшего стольких врагов иноплеменных. Можно ли так легко судить о народе, так легко воспитывать его посредством какой-нибудь Насти, такого отвлеченного и легкого лица; так не знать глубины и убеждений и многого, многого в народе...» (Аксаков К. С., Аксаков И. С. Литературная критика. М., 1981, с. 170).

Позднее, в 1859 г., К. Аксаков вновь обратился к повести Одоевского в рецензии на книжку «Народное чтение». Он увидел у Одоевского желание умиляться народу и говорить ему: душенька народ, душенька народишка. Одоевский был оскорблен замечанием Аксакова. Он писал А. С. Хомякову 20 января 1859 г.: «...на основании какого татарского кодекса, г. К. Аксаков соблаговолил на последнем листу нумера нелепую и шутиливую фразу *собственного его изделия* вложить в уста мне и, таким образом, на старости лет рядить меня в шуты! Ведь это, если перенестись в струю народности, то же, что на кулачном бою запустить свинчатку в рукавицу. Как все это назвать!» (см. Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 251. Тарту, 1971, с. 344). Одоевский требовал от Аксакова извинения и собирался опровергнуть его выпад (см. там же, с. 345; ср. также в проекте предисловия к «Русским ночам» — Одоевский В. Ф. Русские ночи. Серия «Литературные памятники». Л., 1975, с. 303). Однако «Парус», в котором напечатана рецензия Аксакова, был запрещен. Одоевский не стал опровергать публично критику Аксакова. В то же время и К. Аксаков не смог извиниться перед Одоевским. Хомяков и Кошелев пытались помирить Одоевского с Аксаковым (см.: Ученые записки Тартуского государственного университета, вып. 251, с. 346).

В упреках, сделанных Одоевскому, есть определенный резон. В сказке замечается некая натянутость, слащавость, хотя замечание К. Аксакова несколько утрировало позицию Одоевского.

ОТРЫВКИ ИЗ ЖУРНАЛА МАШИ

По мнению Белинского, рассказ кажется слишком односторонним. «Да и неестественно, чтобы маленькая девочка могла вести свой журнал, и еще такой умный и написанный таким прекрасным языком... Маша мало возбуждает к себе участия: она слишком благоразумна, а это в детях большой недостаток, потому что в них величайшее достоинство — игра молодой жизни» (Белинский В. Г. Собр. соч., т. 3. с. 76).

Маленькая соната Черни. — Черни Карл (1791— 1857) — австрийский пианист, композитор, педагог. Разработал оригинальную систему упражнений и заданий для обучающихся музыке.

Фильдово рондо. — Фильд (Филд) Джон (1782—1837) — ирландский пианист, композитор и педагог. В 1821—1831 гг. жил и работал в Москве. Среди учеников Филда был и сам В. Ф. Одоевский.

Маленькая старая соната Плейеля. — Плейель Игнац Иосиф (1757—1831) — композитор, музыкант, основатель французской музыкальной фабрики. Отличался мягкой пластичной игрой, лиричностью. Музыку Плейеля хвалил Моцарт.

...слова Апостола Павла... — Неточная цитата из послания апостола Павла к филиппийцам. В нем сказано: «...я научился быть довольным тем, что у меня есть» (глава 4, стих II).

...слова Франклина... — Бенджамин Франклин (1706—1790) — ученый-энциклопедист, публицист. Неточная цитата из сочинения «Путь к изобилию»: «Помните, что говорит Бедный Ричард: *купи* то, в чем ты не нуждаешься, и вскоре тебе придется продать все необходимое» (Франклин В. Избранные произведения. М., 1956, с. 100).

ДВА ДЕРЕВА

При жизни Одоевского, видимо, не публиковалась. Печатается по изд.: Одоевский В. Ф. Избр. педагогич., соч., с. 158—163.